

Николай Прохоров

ПРЫЖОК В ТЕМНОТУ

● КОРОТКИЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ ●





Николай Николаевич Прохоров родился в 1913 году на Волге в селе Емельяново Татарской АССР. Всю свою жизнь он работает в печати, долгие годы был корреспондентом «Правды».

В годы Великой Отечественной войны Н. Прохоров находился в тылу врага, среди брянских партизан, куда был заброшен как разведчик и подрывник. В послевоенные годы он выпустил несколько книг, посвященных героической борьбе патриотов в тылу оккупантов. Н. Прохоров член Союза писателей СССР.

НИКОЛАЙ ПРОХОРОВ

ПРЫЖОК В ТЕМНОТУ

ИЗ ЗАПИСОК ПАРТИЗАНА

**Издательство
«Советская Россия»
Москва
1971**

Прохоров Н.

П 84 Прыжок в темноту. М., «Сов. Россия», 1971.

80с (Короткие повести и рассказы)

В книге «Прыжок в темноту» собраны рассказы о брянских партизанах, о простых советских людях, которые оказались в тяжелых условиях вражеской оккупации, но не дрогнули, а проявили беспримерное мужество в борьбе с врагом за освобождение Родины.

ПРЫЖОК В ТЕМНОТУ

Софрон всю зиму лежал на печи. Он боялся простуды. Только один раз, в феврале, старик вышел из дома, чтобы побывать у зятя Ильи и запастись самосадам. У Ильи табак всегда был крепкий, душистый, смешанный с цветами донника. Не ленивый по натуре, но очень стар был Софрон, и потому — тяжел ча подъем. Его мучила одышка, иногда беспричинно знобило, в ненастную погоду ныли суставы.

Но вот на Десне началась подвижка льда, и Софрон оставил печку, как медведь берлогу. С открытой реки потянуло запахом свежей рыбы, над широкими плесами со свистом рассекали воздух первые утки. В жилах старика сильнее забродила неугомонная кровь охотника.

Солнечным утром Софрон вышел к реке осмотреть свою лодку, еще с осени опрокинутую на берегу вверх дном. Он законопатил щели паклей, просмолил днище и столкнул посудину в воду, чтобы как следует замочла.

В субботний день к Софрону из города приехали два приятеля: врач Андрей Павлович Гитарин и секретарь заводского парткома Иван Пестов.



— Уж извини, Софрон Алексеевич, мы опять нынче к тебе на открытие охоты,— сказал Андрей Павлович, здороваясь со стариком. Лицо доктора так и светилось праздничной радостью. Первый день охоты!

— Куда же от вас денешься,— с нарочитой грубоватостью отвечал Софрон, хотя в душе был рад гостям.— Видно, на добруньских-то лиманах вы счастье полагаете. А зря.

— Что так? — спросил врач.

— Вода в этом году большая. Птице и негде задержаться, идет дальше. Думать надо, охота будет неважная.

Праздничное выражение на лице Андрея Павловича сменилось тревогой, почти испугом. Он вопросительно взглянул на Пестова: как быть? Но Пестов не придал никакого значения словам Софрона. По широкому рябсватому лицу его скользнула улыбка. Флегматик по характеру, Пестов, как всегда, был спокоен. К тому же он знал манеру Софрона приуменьшать до поры до времени охотничьи богатства добруньских лиманов. Не хвались, мол, по пустякам.

К вечеру охотники, обремененные амуницией, спустились к реке. Нетерпеливый Андрей Павлович первым забрался в лодку и взялся за весла.

— Нет, ты садись впереди. А ты, Ванюшка, в весла,— по-хозяйски распорядился Софрон, решив, что спокойный и широкоплечий Пестов более надежен в качестве гребца, чем суетливый Гитарин.

Щуплый, маленький Софрон уселся на корме и ловко орудовал рулевым веслом. Все лицо его заросло бурыми волосами, из которых едва были видны серые глаза да плоский фиолетовый нос. Огромная клочковатая борода почти полностью закрывала узкую грудь старика. Он был похож на лешего.

Тихая в обычное время Десна теперь стремительно гнала мутные воды, подмывая глину правого берега и разливаясь по низине левобережной поймы. Не без труда охотники пересекли русло реки и углубились в лиманы. Вода далеко разошлась по лугу. Десятки образовавшихся островков, поросших тальником, раkitами, живописно отражались в неподвижной глади вешнего разлива. Из зарослей, близких проток доносилось кряканье уток...

Лучшие места у заводей Софрон распределил гостям, помог им подготовить скрадки, посоветовал, где надежнее привязать подсадных уток. Сам он поплыл на дальний остров, чтобы заготовить дров для ночлега, а уж потом тоже «побаловаться с ружьишком». У старика не было подсадных, он охотился с манком.

Когда солнце начало спускаться за вершины соснового бора,

доктор Гитарин слышал слева от себя первый выстрел. «Пестову посчастливилось»,— ревниво подумал доктор, нервно поглядывая во все стороны. Подсадная мирно кормилась у берега, ныряла, потом с шумом отряхивалась. Ее молчание приводило Гитарина в раздражение. Он не переставал курить. Вдруг утка притихла, прислушиваясь, втянула шею и несколько раз подряд крякнула. Тотчас над ней закружил селезень, потом с характерным звуком шлепнулся на воду в двадцати метрах от берега. Андрей Павлович взял его на стволы и нажал курок. Но выстрела не произошло. Охотник забыл сдвинуть предохранитель. Селезень, услышав шорох, мгновенно снялся, а через несколько секунд слева опять послышался выстрел. Видимо, Пестов на этот раз ударил влет. У доктора нервно передернулась щека.

...Неторопливого, спокойного Пестова связывала с доктором долготная дружба. Они были очень непохожи по характеру, но их роднила страсть к охоте. Надо сказать, что на охоте Пестов был всегда удачливее, чем его нервный, подвижной друг. Это вызывало у доктора зависть, иногда даже неприязнь к товарищу. Впрочем, такие чувства Гитарин переживал лишь в критические моменты охоты. Как врач он уважал Пестова прежде всего за спокойный характер, высоко ценил его скромность. Пестов был Героем Советского Союза, но за многие годы Андрей Павлович лишь один раз видел на его груди Золотую Звезду.

Охота длилась более часа. Когда стало темнеть, на лиманах водворилась тишина, неожиданно раздались всплески Софронова весла. Он посадил в лодку охотников, торжественно поздравил их «с полем». Доктор «взял» за вечернюю зорю три селезня, а Пестов — двух. Сегодня, оказывается, он сильно «мазал».

— А ты, Софрон, добыл что-нибудь? — спросил Гитарин.

— Да вон несколько скрипунов,— небрежно ответил старик. На дне лодки лежало восемь чирков.

— Я их больше уважаю, чирков-то,— сказал Софрон.— Они скуснее, да и на манок лучше идут.

Под дуплистай ивой пылал костер. За удачное начало охотники выпили по стаканчику, поужинали и теперь готовились пить чай. Софрон ушел посмотреть новые места на утреннюю зарю.

Постепенно лес затихал. На деревьях птицы допевали свои вечерние песни. Охотники полулежали у костра и тихо перебрасывались немногими словами. Внезапно за спиной Пестова раздвинулись кусты, он сильно вздрогнул, порывисто обернувшись назад. Из кустов вышел Софрон. Старый охотник умел ходить без шума...

Даже при тусклом свете костра доктор заметил, что лицо Пестова сильно побледнело.

— А нервы-то, оказывается, и у тебя шалют, голубчик,— заметил спустя некоторое время Гитарин.

— На нервы не жалуясь,— ответил Пестов.— Просто испугался. Он так неожиданно вышел...

Софрон бросил возле костра небольшую охапку сухой травы, постелил плащ. Доктор налил в кружки чаю. Старик быстро напился и тотчас лег спать, с головой укрывшись полушубком. А Иван Пестов держал кружку в руке, словно забыв про чай, и задумчиво смотрел на костер. Тихая весенняя ночь и огонь в лесу, мимолетная тревога, вызванная внезапным появлением Софрона, монотонный треск коростеля, раздававшийся где-то вблизи,— все это живо напомнило ему партизанский лагерь. Как будто это было совсем недавно, вчера. Обстановка перенесла Пестова в мир воспоминаний.

Андрей Павлович не был на войне. Но, заметив, как неожиданно побледнел, весь преобразился Пестов, тоже думал сейчас о партизанах. Он старался представить себе, каким был Пестов в той, необычной обстановке.

Друзья сидели молча. Пламя костра медленно потухало. Высоко над головой прокурлыкали журавли. И хотя их голосов в небе слышалось много, прозвучали они в полночи одиноко и грустно.

— Чай у тебя остыл,— сказал доктор,— давай подолью горяченького.

Он бросил несколько сучьев в костер, добавил в кружку чаю и плеснул немного коньяку. Спустя несколько минут доктор заговорил:

— Много лет мы с тобой знакомы, а вот о партизанских делах не рассказывал ты. А ведь нелегко приходилось вам, я думаю.

— Всякое бывало,— тихо ответил Пестов.

— Как ты попал в партизаны?

Пестову не хотелось рассказывать, молча смотрел в темноту, на головешки в костре, подернутые пеплом. Но доктор просил, и Пестов уступил.

— В марте сорокового года меня ранило на Финском фронте. Осколком гранаты повредило ногу. Из Ленинградского госпиталя я опять вернулся к себе в Казань и по-прежнему начал работать в Министерстве местной промышленности экономистом.

Военкомат зачислил в нестроевые. Началась Отечественная, а меня не берут, хотя я не хромотал и здоровье было завидное. Несносное положение! Казалось, все горожане смотрят на меня

с подозрением. Даже на работу старался ходить рано утром и возвращался в сумерки, людей стыдился.

Война разрасталась, как лесной пожар, бедой ползла в глубь страны. Новости с фронта ошеломяли. Это не столько пугало, сколько оскорбляло. Обидно было за свою страну, до боли в сердце. Чувство оскорбления перерастало тогда в ожесточение. Как будто фашист оскорбил лично меня, и не терпелось отомстить ему. А тут на фронт не берут...

Позднее и такое было у меня опасение: после боев под Москвой, казалось, вот-вот кончится война. Как я буду смотреть в глаза вернувшимся с фронта товарищам, что скажу им?

Несколько раз ходил в военкомат. Отказывали. Военком как-то даже нагрубил мне. Идите, мол, и работайте. Без вас знаем, кого следует отправлять на фронт...

Пошел жаловаться секретарю обкома комсомола, а тот предложил ехать в Москву для какой-то службы, связанной с войной. Что это будет за служба, он не сказал. Да я и не допытывался. Лишь бы уехать поскорее из Казани.

Родных в городе не было, и я уехал незаметно, ни с кем не прощаясь.

Вместо двадцати часов поезд шел до Москвы пять суток. На каждом полустанке мы освобождали путь военным эшелонам. На открытых платформах стояли танки, пушки, покрытые брезентом и морозным инеем, а в товарных вагонах дымились железные печи. Из полураздвинутых дверей доносились протяжные солдатские песни. И люди, и оружие, и песни — все двигалось к фронту...

Наш пассажирский поезд шел медленно темными муромскими лесами, глубоко утонувшими в сыпучих снегах.

В Москву приехали вечером. Тихо, как по воде, подплыл состав к вокзалу. Бросилось в глаза, что нет здесь обычной суеты. В полумраке встреченные спокойной и молчаливой прислужгой вокзала пассажиры так же молча расходились.

На площадь я вышел, когда уже совсем стемнело. Жутко было видеть с непривычки, как ползли по темным улицам черные автомобили с синими подфарниками, под самым носом возникали силуэты пешеходов и тут же пропадали. А в небе, как шмели, гудели невидимые самолеты, зловеще ползали, скрещиваясь в зените, лучи прожекторов.

Меня, конечно, никто не встречал в Москве. Да и вообще из нашего поезда никого не встречали. Я сошел с тротуара и остановился в полной темноте, боясь сделать шаг, словно перед пропастью.

Вспомнил, что идти мне ночью некуда, знакомых — никого, и я вернулся на вокзал переночевать.

Утром, как только рассвело, вышел в город. К тому времени Москва уже пережила битву под своими стенами, и я искал на лицах москвичей знаки торжества победителей. Но их не было и следа. Рано, стало быть, торжествовать-то.

Холодной и неприятной показалась тогда Москва. Окна многих домов глядели тусклой фанерой, впервые увидел я остовы зданий, разрушенных бомбежкой. Всюду из окон дымили узкие железные трубы. Люди обогревались такими же печурками, какие топились в солдатских вагонах.

Улицы расчищались только в центре. А вдоль тротуаров снежные откосы вздымались так высоко, что с середины улицы не видно было людей, идущих тротуаром. Не знаю почему, но не разрушенные дома, а вот эти сугробы да самоварные трубы в окнах вызвали жгучую боль в сердце.

Много было в городе военных. Они шли куда-то колоннами, ехали на машинах, стояли на углах и перекрестках улиц. С завистью глядел я на их аккуратные белые полушубки и серые малахаи с цигейным мехом. С радостью сменил бы на такое одеяние свое драповое пальто с высокими плечами и узкой талией, модные в то время.

В Орликовом переулке застал резкий вой сирены. Я не знал, что это такое, и устремился за людским потоком. У входа в бомбоубежище милиционер глухо повторял: «Быстрее, быстрее!» В зубах у меня была папироска, поэтому я задержался, чтобы раза два затянуться поглубже. Около милиционера стоял мальчик в серой, аккуратно сшитой шинельке, солдатской шапке, с ученическим ранцем за плечами.

— Дядя милиционер, пропустите, а? — молил он. — Тут два шага до нашей школы, успею добежать. Я ж дежурный сегодня...

Милиционер сердито приказал:

— Иди в убежище.

Пригрозив, он отвернулся от мальчика, и на лице его появилась улыбка. Я вмешался и посоветовал отпустить мальчика, поскольку бомбежки пока не слышно. Милиционер остановил долгий взгляд на высоких плечах моего пальто, и суровость на его лице была уже непритворной. Я не решился дожидаться его ответа, поспешно спустился в убежище.

После отбоя добрался до ЦК комсомола. Там уже собралось человек тридцать таких, как я. Между прочим, тут я неожиданно встретил своего знакомого, некоего Игоря Перламутава, который

приехал с путевкой раньше меня. Он жил со мной в одном доме. Высокий и красивый парень. По специальности спортивный тренер, он побочно работал еще репортером в газете. Я знал, что Игорь всеми силами увертывался от мобилизации. Однажды ему вручили повестку, приглашали в военкомат, но как раз в этот день в нашем доме кто-то заболел тифом, наложили карантин.

Игорь позвонил в военкомат и сообщил, что не может явиться ввиду карантина. Вечером он пришел ко мне и не без хвастовства рассказал, как ловко объегорил военкомат. Из этого доверчивого рассказа я с ужасом и омерзением понял, что Игорь считает меня сообщником по отлыниванию от фронта. «В этой войне главное — выжить», — любил говорить он.

И вот здесь, в Москве, опять судьба меня столкнула с этим человеком. Но я подумал, что и у него совесть заговорила.

Мы жили в общежитии на Бронной. Дня через два к нам приехал полковник и собрал всех в большой комнате. Он сел за стол, отрекомендовался представителем Центрального партизанского штаба и начал откровенный разговор:

— Мы пошлем вас, может быть, на явную смерть...

После такого вступления, которое я и теперь помню во всех деталях, полковник встал, положил правую руку на ладонь левой и внимательно осмотрел свои ногти. А я в это время украдкой стал приглаживать волосы.

Полковник спокойно оглядел нас и равнодушно, словно речь шла о прогулке в Серебряный бор, добавил:

— Выбросим вас с самолета в тыл к немцам.

И опять я почувствовал, что у меня рассыпается прическа, а в груди появился какой-то совершенно новый для меня холодок. И еще сказал он, чуть-чуть повысив голос:

— Люди нам нужны сильные, крепкие духом и телом. Если кто из вас чувствует слабость, может... нездоров — заявите. Мы отправим обратно, на прежнюю работу. Претензий — никаких.

Заключительная фраза была большим коварством со стороны полковника. После его слов мне вдруг Казань представилась самым уютным и милым на земле городом. И возвратиться в нее так легко и просто: на прежнюю работу и — никаких претензий!

Какое-то время мысль работала только в этом направлении. Хорошо бы сидеть сейчас дома, а не перед полковником, от слов которого шевелятся волосы. Представляю себе, как уже еду обратно. Вот поезд прошел Зеленодольск, прогрохотал под колесами волжский мост. Прямо с вокзала я иду не домой, а в свое учреждение. «Здравствуете, вернулся».

«Почему?» — это меня будто спрашивают товарищи по работе. И тут вдруг я испугался вторично. Да, пожалуй, сильнее, чем при первых словах полковника. Оробел от простого вопроса: «почему?» И еще испугался — не заметил ли полковник, как я поправлял свою прическу.

Но, к счастью, полковник уже надевал шапку, остальные зашумели стульями, поднимаясь. Полковник обещал приехать часа через три и советовал каждому подумать за это время.

Вернувшись в комнату, я долго стоял у окна, смотрел на Москву, но не видел ее. Нечего греха таить, я боялся лететь в тыл, но еще больше боялся возвращаться в Казань. Отступить было поздно. Окончательно решившись, я несколько успокоился.

Вскоре явился в общежитие Игорь, исчезнувший куда-то вслед за полковником. Одному, наверно, только черту известно, как он, приезжий человек, сумел за полтора часа получить три справки от разных врачей: о слабом зрении, расширении сердца, гастрите и еще каком-то серьезном заболевании.

Откровенно говоря, я даже был доволен, что мы расстаемся с ним. Да и опасен такой спутник в трудном деле — непременно бросит тебя в тяжелую минуту. А он стал мне рассказывать, как за последнее время у него сильно обострилась одышка. Даже с улицы Баумана на Чернышевскую (в Казани) Игорь может подниматься, только пятась задом. От этого, оказывается, страдания больного уменьшаются. Грешный человек, не удержался я, пошутил, что, мол, задом воевать трудно, поэтому лететь ему не следует. Пусть возвращается домой со своим гастритом.

Вечером приехал полковник и стал приглашать нас поодиночке для беседы. Некоторых задерживал у себя довольно долго, иных спускал через две-три минуты. Подошла и моя очередь. Признаться, меня опять охватило смятение. Видно, полковник заметил это и с ходу спросил:

— Охотно ли вы идете?

— Да... то есть... — осекся вдруг я, не зная, что говорить дальше. После короткой заминки полковник низко склонился над бумагами. На лице его появилось равнодушие. Видимо, он уже принял свое решение обо мне. Мы встретились взглядами, и я понял, что ему неохота разговаривать со мной... Это возбудило во мне враждебное чувство к полковнику.

— Во-первых, я солгу, если скажу вам, что на явную смерть иду охотно. Во-вторых, обратно не поеду! Я — коммунист!

Утром узнали мы, что восемь человек возвращаются домой, в том числе, конечно, и Игорь. Полковник был к ним на удивление

чутко, беседовал вежливо. Малейшую причину к возвращению находил уважительной и легко отпускал каждого. Говорят, он только не подавал им руки на прощанье.

В Москве мы пробыли более месяца. Обучались партизанским ремеслам. В Тушино сделали несколько тренировочных прыжков с самолета. Наконец наступил день нашего отправления. Вернее, не день, а ночь. Накануне мы подготовили свои солдатские мешки, уложили продукты, табак, белье, запасные патроны, тол. В середине дня в последний раз пошел я по городу с новым своим другом белорусом Кондратом Сколабаном. Ему предстояло лететь в свое Полесье, а мне — в Брянские леса.

День был морозный, ясный, а на душе — тревожно. Думалось: через несколько часов мы окажемся далеко от Москвы, к которой так скоро привыкли. Где-то высадишься сегодня ночью? Не приземлишься ли прямо на штык фашисту? Ведь он там, в незнакомой Брянщине, хозяин, завоеватель...

Молча шагали мы с другом по Москве, залитой морозным солнцем. Очень грустно было сознавать, что никого у меня нет в Москве из близких, чтобы с кем-нибудь попрощаться. Грустно. В какие-то моменты я готов был крикнуть первому прохожему: да знаешь ли ты, чудак, что я сегодня ночью прыгну по ту сторону фронта? На явную смерть!

А москвичи проявляли к нам полное равнодушие. Тем более, что одеты мы были скромно, хотя и добротнo: стеганные ватники, шаровары, валенки и шапки-ушанки. А в то время вся Москва так одевалась.

Забрели мы на Тишинский рынок и купили бутылку водки за 700 рублей. По тем временам это была очень сходная цена. Потом вышли на Тверской бульвар. И тут я предложил распить бутылку около памятника Пушкину. Мой друг возразил: зачем, дескать, на морозе? Зайдем в какой-нибудь магазин да и выпьем в сторонке. Но я настаивал. Хотелось мне тогда чем-нибудь «отличиться».

Деликатный полешанин согласился. Мы сели прямо на гранитный постамент. Мой друг достал из кармана кусок копченой колбасы, неторопливо выбил пробку и подал бутылку. «Тяни перший», — сказал он деловито. После того как раза два «потянули», настроение повысилось, холода уже не чувствовалось. Мы сняли меховые рукавицы, говорили о боевой дружбе, о том, что после войны будем вспоминать нынешний день.

А поблизости женщина работала — обметала площадку вокруг памятника. Хотя она не смотрела на нас, но я заметил, что нарочно

пылит снегом в нашу сторону. Экая, думаю, ехидна баба. А она с каждым взмахом метлы подвигалась все ближе. Подошла и крикнула, не глядя на нас: «Пшли вон!» Как на щенков! Каково это было нам? Мы считали себя чуть ли не героями, а тут... Начали, конечно, возражать. Вдруг женщина обернулась к нам и сурово взглянула. Широкоплечая, краснощекая, одетая в брезентовый плащ поверх полушубка, она стукнула черенком метлы об асфальт, спросила: «С какой радости кутите? Порядочные-то люди кровью умываются, а вы...» И пошла, не взглянув на нас.

Растерянный и пристыженный, я молчал.

— Знала бы она, так небось...— обиженно проговорил Сколабан.

Мы шли домой с испорченным настроением, отрезвевшие, как после холодного душа. Подойдя к общежитию, Сколабан вдруг расхохотался весело.

— Как она нас, а?

Видя, что я не разделяю его настроения, Сколабан добавил:

— Чего ты так переживаешь? Подумай, ведь это вполне естественно. Она же не знает, кто мы такие, чтобы с нами церемониться.

Он опять добродушно рассмеялся.

Вечером мы поехали на аэродром. Грузовик тихо двигался по затемненной Москве, а будущие партизаны сидели в кузове нахолившись.

На аэродроме вышла заминка, и мы прождали часа три. Кто-то звонил по телефону, справлялся о маршруте, о погоде. А мы ждали, настороженно прислушиваясь к телефонным разговорам. Наконец в два часа ночи приехал наш знакомый полковник. Он сообщил, что сегодня мы летим не через линию фронта, а только на подскок. Загадочное словечко это означало, что мы отправимся на один из аэродромов, лежащих близ фронта.

Таким «подскоком» оказался для нас город Елец, куда мы прибыли на рассвете. От него до фронта было двадцать верст.

Небольшой старинный городок на реке Сосна выглядел необычайно молодым. Улицы кишели народом. В маленьком здании театра ежедневно шли концерты, танцы. Часто веселье прерывалось из-за бомбежек, но после отбоя снова возобновлялось.

По пять, по десять раз в сутки, даже днем, налетали вражеские самолеты на Елец. Нередко новые бомбы попадали в старые воронки, все было изрыто вокруг вокзала и возле моста через Сосну. А городок лихо отбивался, встречая фашистов грохотом зенитных пушек и снопами трассирующих пуль. Таким и остался у меня в па-

мяти Елец тех дней. многолюдным, оживленным, смело бросающимся в драку с врагом.

Несколько дней в Ельце прошли для нас незаметно. И вот снова грузовик, темная дорога, ночной аэродром. В тот февральский вечер была сильная оттепель, сырой туман окутывал все кругом. Такую погоду считали нелетной, и, откровенно говоря, теплилась надежда, что мы опять вернемся в полюбившийся Елец.

В теплой землянке летчики дружески угощали нас крепким чаем. Когда кончили чаепитие, командир корабля взглянул на часы, потом на нас и коротко бросил: «Пора!». Солдаты провели нас в темноте к самолету. По фюзеляжу звонко стучал дождь, а в районе вокзала опять загрохотали зенитные орудия, в воздухе, словно шпаги, скрестились голубоватые лучи прожекторов.

После отбоя загудели моторы нашего самолета, машина вздрогнула и пошла... Даже не заметили, как оторвались от земли. Вскоре в окна увидели яркие звезды и поняли, что тучи уже под нами. Чистое небо и звезды подействовали как-то неожиданно успокаивающе. Мы закурили.

Монотонно гудели моторы, к звуку которых мы скоро привыкли. Вдруг по сторонам самолета появились беззвучные огненные вспышки. Это рвались снаряды. Но за гулом моторов мы даже не слышали разрывов.

Потом в люки хлестнул свет прожектора, пилот сделал резкий вираж в левую сторону, и мы все попадали с лавок. Машина стремительно пошла вниз, все больше накренясь... Признаюсь, подобную минуту я пережил единственный раз в жизни и вряд ли ее когда-нибудь забуду. Впоследствии мне приходилось попадать в разные переплеты, но никогда я не испытывал такого ужаса, какой сковал меня в этот момент.

Мы уже отсчитывали секунды, оставшиеся нам, чтобы долететь до земли и разбиться, как самолет постепенно стал выравниваться. Спустя несколько минут из рубки вышел командир. Он спокойно, что нас очень удивило, сказал, что летим уже над лесами, места безопасные. Заметив, вероятно, что мы еще в состоянии обалдения, командир улыбнулся.

Настала пора прощаться. Под нами был лес, черный, таинственный Брянский лес, над которым шел наш самолет. Командир корабля тихо сказал: «Приготовиться».

Ближе всех к люку стоял руководитель нашей группы Александр Ермаков. Он оглянулся назад, скупой улыбнулся и вдруг исчез. В темном проеме люка только мелькнул квадратный мешок

парашюта. За ним выпрыгнул радист Васильев, а потом была моя очередь. Я прилагал все усилия, чтобы держаться спокойно. Поспешно приблизившись к дверке, я выпрыгнул — будь что будет! В последнее мгновение прозвучал хороший напутственный голос летчика: «Пошел, ребята, пошел!»

Мы все пятеро сравнительно «кучно» приземлились в лесу. Только наш радист повис на дереве, зацепившись стропами. Мы помогли ему спуститься на землю, а потом Ермаков приказал нам сложить парашюты, забросать их снегом.

...Пестов остановился, надолго замолчал. Он достал из кармана портсигар, закурил:

— Вот эти эпизоды больше всего и запомнились мне за всю войну.

Доктор, ни разу не прервавший его во время длинного рассказа, спросил:

— Скажи откровенно, очень боязно было на землю-то садиться?

— Конечно, трусили,— признался Пестов, простодушно улыбаясь.— Главное дело, внизу черно, ничего не видно.

— Ну, а дальше что было?

Пестов продолжал:

— Мы решили ждать рассвета, чтобы днем разыскать партизан. Замаскировались в густом ельнике, приготовили оружие. Уже начали дремать. Вдруг совсем близко послышались голоса и шаги. К утру подморозило, и наст громко хрустел под ногами. Мы замерли в ожидании.

Люди шли большой группой и свободно переговаривались. Неожиданно один из них сильно, по-разбойничьи, свистнул. Мы не ответили.

— По-русски говорят,— тихо шепнул радист Васильев.

На это Ермаков так же тихо ответил:

— Есть и полицейские русские...

Странно было слышать такое. Не хотелось верить, что человек говорит на русском языке и может выстрелить в тебя.

Командир насчитал восемь незнакомцев, все были вооружены винтовками. Они прошли недалеко от нас. Мы пропустили их, раздумывая, что за люди: друзья или враги?

Через несколько минут в темной глуши леса смолк скрип шагов и голоса. На рассвете, уже с другой стороны, появились еще двое.

— С двоими не опасно,— шепнул Ермаков,— приготовьтесь.— Он выждал момент, потом крикнул: — Стой, стрелять будем!

Те не смутились. Не двигаясь с места, улыбаясь, сказали, что разыскивают парашютистов, приземлившихся ночью.

— Какой отряд здесь расположен? — спросил Ермаков.

— Кутузова,— ответили партизаны.— Кто из вас будет Ермаков?

После довольно длительных переговоров, «хитроумных» вопросов мы убедились, что попали на партизанский отряд.

Мы пришли в лесную деревню Вздружное. В жарко натопленной избе Васильев развертывал рацию, чтобы связаться с Москвой.

С этого утра и началась наша партизанская служба в здешнем лесу.

— Все хорошо, что хорошо кончается,— философски подвел итог пестовскому рассказу Гитарин.

— Теперь давай немного вздремнем,— сказал Пестов,— а то Софрон скоро поднимется.

Охотники устроились возле костра и замолкли. Они знали, что старый Софрон не проспит зарю. А она уже загоралась, славная весенняя заря на добруньских лиманах.

I

Вот уже два дня Тарас Коптелов ходит хмурый, куда только девалась его обычная веселость.

А всему виной письмо от Кати из деревни Дятлово, принесенное разведчиками. Она, Катя, зовет Тараса домой, в свой партизанский отряд. Да еще стыдит! «Вы,— пишет,— прячетесь всю зиму в лесу, а мы выбили из Дятлова немцев и теперь живем дома, оккупанты боятся дятловского отряда».

Это бы еще ничего. Суть в конце письма. Как бы между прочим Катя сообщает, что Степка Крысин состоит у них теперь пулеметчиком в отряде. Откуда он опять взялся, этот Степка? Тарас хорошо помнит, что его с первых дней войны мобилизовали в армию. Как же он очутился дома, если фронт около Тулы? Из окружения, что ли, выбрался или из плена?

Шофер Степка Крысин еще до войны немало испортил крови Тарасу. Вдруг возьмется приставать к Кате. Шутя, легко заговорит с ней, встретив на улице, пригласит прокатиться на машине. В клубе всегда



старался танцевать только с Катей, балагурил. А той и любо. Она словно и не замечает, что Тарас мучается. Сколько было тягостных объяснений. Правда, они в конце концов разрешались примирением. Катя обычно уверяла, что ей совсем не нравится Степка, и Тарас скоро забывал обо всем. Уж слишком он любил Катю.

В землянку сквозь маленький квадрат окна, занесенного снегом, начал пробиваться свет. В железной печке, около которой сидел Тарас, трещали березовые дрова, и отсветы пламени трепетно прыгали по черным бревнам стен. Время от времени красные блики от печи падали на исхудалое лицо Тараса, и тогда на нем ярко выделялись пухлые розовые губы.

Тарас сегодня дежурный по землянке. В его обязанности входит не спать, поддерживать чистоту и тепло в жилище. Печь все больше раскалялась, в жарком воздухе сильнее обозначился запах сохнувших валенок и человеческого пота. Заметив, что многие партизаны перестали храпеть, Тарас понял, что они уже проснулись. Некоторые приблизились к печке, чтобы достать уголек и прикурить.

Чтобы скрыть свое настроение, Тарас стал шутить, вспоминая, как в Дятлове впервые появились фашисты.

— ...Бросил фашист, значит, на колесный завод первую бомбу. Она разорвалась,— начал Тарас.— Потом стал кружиться над поселком. Поставил ребром крыло и кружится, кружится, все выше забирает. Только крест на хвосте чернеет. Народ, ясное дело, высыпал на улицу, в ужасе глаз не сводит. Вдруг, слышим, мотор притих, и в это время от аэроплана отделилось что-то круглое, большое. Все так и ахнули: огромная бомба! Бабы сразу попадали на землю, юбки на головы тянут, укрываются...

— Сходил бы ты, Тараска, отгреб от окна,— внезапно прерывает кто-то из темноты рассказчика,— может, уже полдень на дворе-то.

— Лежи, не мешай,— с досадой отмахнулся Тарас и продолжал: — Ну, а я, значит, не оробел. Вижу, падает штука эта чересчур медленно. Наверно, думаю, не бомба. Так и есть! Почти около самой земли разглядел: фашист бочку сбросил с самолета. Для озорства, конечно. Как она грохнет посреди улицы! Словно из пушки. Обруча лопнули, днища из уторов повывлетели и с визгом...

— Ну и врать ты здоров, Коптелов! — опять послышался тот же голос из угла землянки.— Что мы, как медведи, днем лежим в темноте? Отгреби, говорят тебе, снег от окна!

Тарас сделал вид, что не слышит.

— Только немного успокоились люди,— продолжает он,— вижу, подходит к тому месту, где упала бочка, старик Ермил, мастер за-

вода. Поднял он одну клепку, повертел в руках и говорит: «Моя это работа. У другого мастера звания не осталось бы от бсчки. А тут, видишь, только обруча таловые не выдержали. Вся целехонька. Хоть заново собирай. Однако не в том суть дела. По весне, помнится, продал я бочку эту в Брянскую плодоовощ. Город, стало быть, занят немцами. Теперь вскорости сюда надо ждать «гостей».

— Будет те болтать-то, поди очисти снег,— послышался повелительный голос командира взвода Пыжова.

— Да ведь история-то еще не окончена,— неуверенно возразил рассказчик, которому очень не хотелось выходить из теплой землянки на холод.

Командир не повторял приказа, и Тарас понял, что ему не отвертеться. Он умолк, изобразив на лице обиду, стал собираться. Долго разыскивал валенки, потом натягивал ссохшийся полушубок, который гремел на плечах, словно был сшит из жести.

Когда Тарас открыл дверь, в землянку вместе со светом утра ворвался белый вал морозного пара и завихрился вокруг горячей печки. Жилище сразу посвежело, в нем стало легче дышать. На нарах закрипели доски, начали подниматься партизаны.

Тарас утоптал около окна снег, отгреб от двери и, захватив охапку дров, вернулся в землянку. Но вернулся он не один.

— Ну и воздух у вас, братцы! Хоть бы проветрили! — услышали партизаны знакомый басовитый голос командира отряда Громова.

— Только поднялись, Василь Гордеич, устали вчера с дороги,— ответил Пыжов. Он быстро отодвинул от жаркой печки чурбан, и Громов сел на него.

Партизаны тотчас начали спускать ноги с нар, одеваться.

— Ну, как живем, ребятки? — обратился Громов с обычным вопросом, чтобы начать разговор.

— Ничего, в тепле живем,— ответил командир взвода, но Тарас добавил:

— Хорошо живем, хлеб жуем, только на зубах он немного тово...

Пыжов преувеличенно громко кашлянул, остро кольнул взглядом Коптелова. Тот сразу прикусил язык. В землянке водворилась неловкая тишина. В смущении Тарас виновато стал оглядываться по сторонам, натываясь на осуждающие взгляды товарищей. А командир отряда, открыв створку печки, молча наблюдал, как с пылающих сосновых поленьев падают, вспыхивая, крупные капли смолы.

— Прав ты, конечно, Тарас. Голодно живем, ничего не скажешь.

— Да я это в шутку, Василий Гордеич, разве я не понимаю?

Партизаны нахмурились, молча осуждая Коптелова, потом заго-

ворили, советуя командиру не обращать на него внимания. Он-то так, по глупости сболтнул. И Тарас готов был согласиться с этим.

Через минуту беседа продолжалась своим чередом. Тарас робко, но опять заговорил. Он упомянул об отряде Гришина. О нем здесь говорили часто и с восторгом, особенно разведчики, которым иногда доводилось бывать в Дятлове.

В середине зимы Гришин вышел из леса, занял поселок Дятлово, выгнал оттуда полицейских. Фашистский батальон два раза пытался выбить партизан из поселка, но безуспешно.

— Сильный отряд,— восторженно заметил один из разведчиков.— Хорошо вооружен, и живут сытно...

Уходя, командир неожиданно сказал Пыжову:

— Сегодня пойдете с моим поручением к Гришину. Тараса возьмите с собой.

II

Тяжело жил в это время отряд «За Россию». Уже четыре месяца он находился в лесу, давно кончились запасы хлеба, а пополнить их все не удавалось. Люди получали по небольшому куску конины на день, да и она была на исходе. В отряде сохранились всего две лошади, истощенные до крайности. Два налета на фашистские гарнизоны прошли удачно, но из этих сел немцы заранее вывезли все запасы хлеба. Неделью назад партизанская группа напала на обоз оккупантов. Но обоз сопровождал отряд фашистских автоматчиков. Пришлось отступить, да еще потеряли трех человек.

Теперь партизаны готовились напасть на село Козыревку, где в привокзальных складах немцы накопили большие запасы хлеба. Но в селе стоял крупный отряд карателей. Громов посылал записку Гришину, предлагая ему совместно разгромить фашистов в Козыревке.

Громов вышел из землянки вместе с Пыжовым. Узким коридором, глубоко прорытым в сугробе, Громов шагал впереди и внезапно остановился. Пыжову показалось, что командира качнуло в сторону.

— Что, Василь Гордеич? — тревожно и участливо спросил Пыжов.

— Вот что, Пыжов,— подчеркнуто строго сказал командир.— Ты сейчас же отправляйся к Гришину, чтобы завтра вернуться.

Вскинув голову, Громов твердо зашагал к своей землянке, оставив на тропе растерянного Пыжова. Командир был до крайности смущен минутной слабостью.

Партизаны переносили трудности с питанием молча, стиснув зубы.

Вернувшись к себе в землянку, Громов повел невеселую беседу с комиссаром отряда Кошелевым.

— Мы не нашли пока эффективной тактики,— отрывисто говорил он.— Конечно, зимнее бездорожье, нехватка патронов, отсутствие общего оперативного руководства отрядами — серьезная помеха в нашем деле. Но мы должны воевать, а не сидеть, в этом главное.

Кошелев сидел на топчане, сжимая в обеих ладонях жестяную кружку, шумно прихлебывал кипяток, трубочкой вытягивая губы. Он молчал. А Громов, расстегнув пуговицы мехового жилета и приглаживая рукой черные густые волосы, продолжал, стоя посреди землянки:

— И еще... Я заметил, что люди робко входят в соприкосновение с врагом. Боятся. Мы приучили их смотреть на фашиста с расстояния выстрела.

— Всею голова хлеб,— заметил комиссар, ставя кружку.

— Внезапностью надо ошарашивать фашистов,— все более сердился Громов,— засадой, налетами, диверсией!

— У некоторых бойцов появилась желтизна на лицах. Двое уже пухнут. Дистрофия...

Комиссар пристально взглянул на командира. На лице Громова не дрогнул ни один мускул.

— Пора нам чувствовать себя хозяевами в лесу, а не новичками,— с азартом бил в одну точку командир.— Стыдно так воевать!

— Стыдиться, положим, нет оснований. Были и удачные операции, люди дрались смело. Но воевать надо лучше, в этом ты прав.

Комиссар знал горячность и решительность Громова, но сегодня он особенно был не в духе.

Кошелев подбросил дров в печку, снял котелок с супом. Потом достал свой вещевой мешок, вытряхнул из уголка хлебные крошки и высыпал их в кружку. Помешав ложкой, налил в кружку супу и отставил котелок на другой край стола.

— Садись завтракать, Василий Гордеич.

Громов подсел к столу, вынул из кармана складной нож и поддел им из котелка плоский серый кусок конины. Разрезав мясо, он подал одну половину Кошелеву.

— Ешь все, я не хочу,— решительно сказал комиссар, отстраняя кусок.

Но Громов уже положил мясо на стол, и комиссар еще решительнее запротестовал:

— Ни в коем случае! Что ты? У меня тут... хлеб,— он показал на кружку.

— Да будет тебе, комиссар! — произнес Громов.

В землянку вошел Коптелов.

— Что тебе, Тарас? — спросил командир.

— Хотел просить у вас... Может быть, я...

— Ну говори, говори, не тани,— нетерпеливо перебил Громов.

— Можно мне остаться в отряде Гришина? — произнес Тарас и, заметив внезапное удивление на лице командира, неуверенно добавил: — Я родом из Дятлова. И мать у меня там живет.

Командир вопросительно взглянул на комиссара, но, не успев ничего прочитать на его лице, вдруг проговорил:

— Хорошо, оставайся в отряде... Гришина.

Это быстрое и твердое решение командира отдалось неожиданно болью в сердце молодого партизана. Он вдруг съежился и стоял, боясь вымолвить слово и не решаясь повернуться к выходу.

Вошел Пыжов, и Тарас тут же выбежал из землянки.

Узнав о просьбе Тараса, Пыжов возмутился:

— Вот как! Из-за девки удирает из отряда,— грубо и презрительно сказал он.— На днях ему было письмо из Дятлова, от какой-то Кати...

III

— А ведь жалко Тараса-то, хорошего бойца лишились,— сказал командир, когда они остались вдвоем с комиссаром.

— И мне жалко его. Только по другой причине.

— По какой же?

— Тарас побледнел, когда ты отпустил его. Уж очень поспешил ты! Как будто обрадовался случаю отделаться от ненужного человека. Самолюбив он, молодой еще.

— Неужели побледнел? Да ведь рассердила меня просьба его. От трудностей, думаю, удирает, попросту от голода.

— Может, и не от трудностей. Вон Пыжов говорит, что девушка у него в Дятлове.

Громов с волнением ждал возвращения Пыжова из Дятлова. Как отнесется Гришин к его идее?

Вместе с Пыжовым возвратился и Тарас — злой, весь какой-то сшетинившийся.

Громов сделал вид, что не удивлен появлением Тараса, будто вчерашнего разговора и не было.

— Отказался выступать с нами Гришин,— сообщил огорченный

Пыжов.— Когда, говорит, надо бить фашиста, так мы никого не просим, сами управляемся. Сейчас нам, дескать, опасно оголять посты.

— Какие посты? — спросил Громов.

— Дятлово, стало быть. Боятся, как бы немцы не напали на их деревню, укрепляют ее.

Громов, раздумывая, прошелся несколько раз по землянке, потом сказал:

— Ну что же... Пойдем одни на операцию.

Потом он спросил Пыжова, задетый, видимо, словами Гришина:

— Так и заявил, мол, ничьей помощи не просим?

— Так и сказал... А знаете, у них пять станковых пулеметов! — с завистью воскликнул Пыжов.

— Что ты врешь, откуда такое оружие?

— Гришин говорит, что в бою добыли, — ответил Пыжов. — Но пулеметы-то наши, русские.

— Зря мы с этим подлецом разговаривали, — со злобой проговорил Тарас.

Командир повернулся и пристально поглядел на него, ожидая, видимо, что он еще скажет. Но Тарас молчал, зло прикусив нижнюю губу.

— А ты почему вернулся? — с нарочитым недовольством спросил его комиссар.

— Делать мне там нечего, — почти огрызнулся тот.

— Сам просился вчера. Или неласково встретили в Дятлове? — заметил Громов, многозначительно улыбаясь.

Тарас молчал, нахмурясь.

— Нагрубил он там Гришину, — пожаловался Пыжов.

— Это еще зачем? — строго спросил Громов, взглянув на Тараса.

Тарас замялся, переступил с ноги на ногу.

— До зубов вооружены и лежат как собаки на сене, пулеметы берегут. Какие они партизаны, просто обороняют себя от войны. За всю зиму ни одной операции не провели.

Громов подумал, что Тарас дело говорит. Он, Тарас, больше чем когда-либо нравился ему сейчас. Сердитый молодой партизан с каждым словом как бы вырослел в глазах командира.

— Почему же ты все-таки не остался там?

— Что мне, дезертиром быть? — опять дерзко сказал юноша, озадачив неожиданным ответом Громова.

— Ну хорошо, — спокойно заговорил командир. — Ты садись и расскажи подробно, из-за чего поспорил с Гришиным.

— Не ссорился. А только собрались мы уходить, значит, а около колхозного правления столпились их односельчане. И Гришин тут появился. Морда сытая. Новое пальто расстегнул, а на брюхе офицерская пряжка огнем горит. Пыжов с ним за руку прощается, а меня зло берет. Вдруг выходит помощник Гришина и важно объявляет, чтобы все слышали: «Командир отряда приказал, дескать, отпустить вам два пуда муки»...

Тарас помолчал и вдруг воскликнул:

— Вот ведь до чего дошли! Тут я не выдержал и говорю: «Мукой откупиться хотите? Сволочи вы, а не партизаны. И командир ваш дерьмо».

— Да-а, нехорошо, Тарас,— протянул комиссар.— Чем же все кончилось?

— Ничем. Ушли мы с Пыжовым,— понуро сказал Тарас,— муку не взяли.

— Круто ты, Тарас,— заметил Громов.— Так нельзя.

— Они бездельники и трусы,— уверенно возразил Тарас.

— А почему же об этом отряде только и разговора, что он разбил батальон противника,— сказал Кошелев.

— Во-первых, не разбил, а отбил,— уточнил Тарас.— И ничего тут нет хитрого, при пяти-то пулеметах. Да еще неизвестно, сколько было фашистов.

Отпустив Тараса, командир попросил Пыжова задержаться на минутку.

— Как ты думаешь, почему Тарас не остался в Дятлове? — спросил его Громов.

— Кто его знает... Да ведь он оскорбил Гришина.

— А не поссорился он с девицей своей?

— С Катей? Нет. Провожала она его далеко за поселок, все уговаривала остаться. А он Гришина ругал. Между прочим, Катя-то дочь Гришина.

— Как все это тебе нравится, комиссар? — спросил Громов, когда они остались вдвоем.

— Совсем не нравится. Трудно будет одним в Козыревке. Там много солдат.

— Внезапно нападём, справимся,— спокойно сказал командир.— Но что ты скажешь насчет Тараса, его ссоры в Дятлове?

— Гордость, видно, заела его за свой отряд. Мальчишество, конечно.

— Плохо, когда нет общего руководства отрядами. Каждый действует по своему усмотрению. Координировать надо удары, а тут... И в какое время!

Операцию откладывать было нельзя. Ее решили провести завтра. А после этого командир и комиссар договорились послать человека через линию фронта с письмом в обком партии.

IV

Глубокий снег лежал в лесу. Сухой, пышный, словно взбитый лебяжий пух. Он спрятал все на земле: валежник, черные пни, зловонные ямы, овраги. Белым-бело кругом! И только молодые елочки зеленели, выглядывая тонкими мутовками из снега. А на старых елях, на нижних широких лапах лежали белые подушки. Ветви пригнулись, образовали вокруг стволов пещеры, в которых прятались от непогоды белаяки.

После февральских метелей даже на лыжах было тяжело ходить. Люди до пояса утопали в снегу. А лыж было мало. Поэтому, когда отряд отправился в поход, вперед одним следом двинулись лыжники, чтобы проложить тропу.

Длинная цепь медленно продвигалась, мелькая среди деревьев. Сохраняя силы, отряд делал частые привалы. Остановится командир впереди колонны, отойдет в сторону, сделает знак рукой, и уставшие бойцы с размаху падают в сухой рыхлый снег.

Отряд вышел из леса, когда наступили сумерки. Теперь лыжники пошли в три следа, чтобы собрать растянувшуюся колонну. Чем дальше, тем осторожнее, приглушеннее разговор. В полуверсте от Козыревки сделали привал. К полуночи появилась ущербленная луна, и на снежное поле лег холодный, тусклый свет. На равнине обозначилось большое село, опоясанное черным кольцом садов.

Пока партизаны отдыхали, из села возвратились разведчики. Основные силы оккупантов — солдаты, младшие офицеры — размещены в здании колхозного клуба. Там — часовой.

С кряхтением, тяжело поднимались из снега партизаны. Разминались, отряхивали снег, поправляли одежду, проверяли оружие.

Разведчики установили, что офицеры жили отдельно от солдат в пятистенном доме. Хозяева этого дома живут в конюшне. К дому офицеров направился с группой бойцов комиссар. А Громов повел отряд к клубу, где размещались главные силы карателей.

Командир остановился в саду, возле клуба, долго смотрел на здание, прислушиваясь, потом тихо сказал связному:

— Лукояна позовите ко мне.

Через несколько минут около Громова появилась нескладная фигура в серой шинели и военной фуражке, к которой были пришиты овчинные уши.

— Часового надо убрать, Лукоян.

— Где он стоит? — простодушно спросил пришедший, заслоняя рот варежкой.

Лука Режин пользовался репутацией особой — бывший помощник паровозного машиниста, апатичный, всегда хмурый и в то же время стеснительный, он пришел в отряд зимой, измученный долгими поисками выхода из окружения. Большой, заросший густой бородой боец случайно набрел на партизан.

— Как зовут тебя? — спросил комиссар.

— Лукоян Режин, — ответил тот, подавая красноармейскую книжку.

Комиссар посмотрел книжку и, возвращая ее, сказал, улыбаясь:

— Не Лукоян, а Лука.

— Это по книжке. А правильно будет — Лукоян, — уверенно возразил солдат.

Так и остался он в отряде Лукояном. Вот этому-то человеку командир и поручил теперь снять часового.

Немец дежурил у парадного входа. Он то и дело прогуливался, постукивал каблуками, согревая ноги. Иногда он делал резкие проминки, держа автомат на плече.

Лукоян стоял за углом, не шевелясь, точно каменный, терпеливо дожидаясь своей минуты. Фашист несколько раз отходил от двери и поспешно поворачивал обратно. Наконец Лукоян выбрал момент, сделал прыжок, подмял часового, зажав ему рот рукавом шинели. Но фашист успел крикнуть, из окон начали выскакивать солдаты с автоматами и пулеметами.

Услышав крики, Громов двинул отряд, чтобы окружить помещение. В это время раздалось несколько автоматных очередей, из-за угла блеснули прерывающиеся огоньки — станковый пулемет ударил первой очередью по саду.

Внезапное нападение не удалось. Отряд остановился, зарываясь в снег. Началась яростная перестрелка. Партизаны не могли поднять головы.

Если днем еще можно было бы вести из винтовок прицельную стрельбу по врагу, то ночью вся сила в густоте огня. У партизан не было автоматов, и они прижались к земле. Громов еще не знал о потерях отряда, но знал, что они значительны, потому что первые выстрелы пулемета угодили в гущу поднявшихся партизан.

Перестрелка затянулась. Когда огонь несколько стих, Громов решил еще раз поднять отряд в атаку. И только бойцы бросились вперед, заработали вражеские автоматы, а из-за угла раздался ро-

хот двух пулеметных стволов. Лукоян метнул гранаты, и пулеметы умолкли.

Но атака не удалась. Отряд оказался в тяжелом положении. Приближение утра ничего хорошего не сулило отряду. Необходимо было принимать решение. Но какое? Отступить? От этой мысли Громов весь передернулся.

Он послал два взвода в обход, чтобы, окружив здание, одновременно броситься врукопашную. Другого выхода Громов не видел.

Ночь была на исходе.

В минуты затишья где-то поблизости раздавались выстрелы. Вероятно, группа комиссара вела бой с офицерами. Фигуры партизан уже начали мелькать около домов. Их заметили и немцы, сделавшие снова несколько выстрелов.

С рассветом партизаны увидели, что фашисты вдруг поспешно начали отходить. Отстреливаясь, они отступали в конец села, а затем по широкому заснеженному тракту уходили в сторону города Суземка.

Послав группу на помощь комиссару, Громов собрал отряд около клуба.

На конюшне фашисты оставили лошадей. Громов послал людей запрягать подводы, а сам отправился к амбару. По пути его догнал комиссар Кошелев, в расстегнутой шубе, с усталым, но возбужденным лицом.

— Уцелел только один офицер с ординарцем,— не то с досадой, не то с сожалением сказал комиссар.— Отстреливались долго, проклятые. А к рассвету начали удирать.

В Козыревке оказалось много пшеницы. Здесь у фашистов был перевалочный пункт, отсюда они отправляли его на железнодорожную станцию. В запасе было только зерно, муки не оказалось.

— Не беда,— говорил старшина Соротокин,— кашу будем варить. Ветряные мельницы пустим в ход. Еще пшеничных пирогов напечем!

Старшина быстро погрузил на подводы зерно, разделанные туши говядины. Несколько голов скота забрали живьем.

— Жирное мясо,— радовался Соротокин.— Небось ребятам наладим хороший харч. Теперь заживем!

Никто не выходил из домов. Перепуганные люди сидели в домах и с тревогой прислушивались. Но когда узнали, что партизаны выгнали фашистов,— вся деревня хлынула на улицу. Крики радости, шум, слезы.

К сумеркам отряд возвратился в лагерь. Уставшие бойцы наскоро поели сытного кулеша, которым их угостил расторопный старшина, специально выехавший из Козыревки пораньше. Тарас пластом лег на нары и тотчас заснул крепким сном. Дежурному по караулу, вошедшему в землянку около полуночи, стоило немало труда, чтобы разбудить его. Он сначала дергал его за ногу, потом принялся теребить за волосы. Тарас бессмысленно смотрел на дежурного, не мигая, затем камнем падал вниз лицом на соломенную подушку и тянул на голову полушубок.

— Да очнись ты, Тарас. Вызывают тебя!

Лишь после того, как дежурный сильно натер ему уши, Тарас вскочил на ноги.

В лесу было тихо. Шагнув из дзери, Тарас на мгновение остановился, чтобы осмотреться. Но дежурный взял его за руку и повел за собой — давай, мол, быстрее.

Небольшая землянка, где по ночам находился начальник караула, была освещена копилкой. Дежурный открыл дверь, пропустил Тараса и закрыл ее. Переступив порог, Тарас остановился от неожиданности. У окошка, близ лампы, стояла девушка. На ней все было белое: шерстяной платок, шуба, фланелевые лыжные шаровары. И только поперек носков белых валенок, на которых еще не растаял снег, чернели узкие полоски — след лыжных ремней. Щеки ее горели ярким румянцем. Увидев Тараса, она улыбнулась, и в глазах ее блеснули слезы.

— Катя! — в удивлении произнес Тарас.

— Я боялась за тебя, Тарас. Знала, что вы сегодня в бою. Все думала: жив ли?

Тарас слушал молча, смущенный и обрadowанный.

— Зачем ты с папой поссорился? Не делай этого больше, прошу тебя.

Девушка с тоской смотрела на Тараса, а он вдруг нахмурился. Катя опять заговорила, зовя Тараса в Дятлово, в свой родной отряд.

— Никакой он не командир, твой отец, — сердито проговорил Тарас. — Да и отряд ваш фальшивый. Трусы в нем собрались и обжоры. Вот сегодня у нас погибло в бою десять человек, еще больше раненых. А если бы ваши с пулеметами помогли, не было бы этого.

— Так много погибло? — с удивлением спросила Катя, широко раскрыв глаза. Помолчав, она добавила: — А у нас за всю зиму ни одного не погибло.

— То-то и оно,— ответил Тарас.— Ваши-то все целы. Отсиживаются в деревне. Они не партизаны, а дезертиры, от войны скрываются.

...Длинна зимняя ночь. Ни звука в лесу. Одетые узором инея, молчаливо стоят сосны, среди них, занесенные глубоким снегом, притаились партизанские землянки.

Всю ночь дежурный не заглядывал в караулку, чтобы не беспокоить влюбленных. И только утром, когда совсем рассвело, он подошел к землянке, долго обстукивал снег с валенок, а уже потом осторожно открыл дверь. Тарас и Катя сидели за столом у дымящегося чайника.

— Садись, ночной страж, чайком согрейся,— пригласил Тарас дежурного.

На рассвете Катя ушла домой.

А время шло. Приближалась весна 1942 года. Вот уже и март. Длиннее становились дни, солнце вздымалось все выше. Но зима сдавалась неохотно. За дневные оттепели она мстила по ночам лютыми морозами, от которых трещали в темноте дубы.

И все же с каждым днем становилось теплее. Яркие лучи солнца пронизывали весь лес. В полдень на припеке нагревались стволы деревьев, вокруг них лунками оседал синеющий снег. На ветвях набухали почки, в воздухе забродили запахи ранней весны, а на южных склонах вербы начали выбрасывать серебристые барашки.

Из деревни Добрая Карна возвратились разведчики и сообщили, что видели там прилетевших грачей. Эта весть вошла в партизанские землянки праздником. И, пожалуй, самое удивительное, что ее принес Лукоян, человек угрюмый и равнодушный ко всему окружающему.

Старшина Соротокин сидел на чурбаке около кладовки и курил, греясь на солнце. Вокруг него собрались партизаны. И когда, выйдя из землянки, к кладовке приблизился Громов, Соротокин сказал:

— Слыхали, Василий Гордеевич, грачи прилетели!

И пошел разговор о весне, оживленный, радостный.

— Только весна-то у нас нынче... э-эх! — воскликнул Соротокин. Все поняли, что хотел сказать этим старшина.

— Куражится враг...— молвил кто-то.

— Еще бы не куражиться,— заметил опять Соротокин.— Вон куда дошли, Ленинград обложили.

Тревожные вести о Ленинграде приходили в ту зиму с опозданием, судьба великого города волновала всех. Командир отряда

задумчиво чертил на снегу прутиком и тоже думал о Ленинграде. Взглянув ему в лицо, Лукоян глухо откашлялся, проговорил:

— Выдюжим, Василий Гордеевич, не сдастся он, Ленинград наш!

С наступлением весны партизаны связывали большие надежды. Командир любил беседовать с ребятами о предстоящих боях, о том, как должна расширяться борьба с оккупантами.

Летом отрядам, а тем более диверсионникам и разведчикам, легче будет гулять по вражеским тылам, наносить внезапные удары. Тысячи дорог и троп будут тогда открыты партизанам, где можно не оставлять следов, появляться там, где меньше всего ждут враги.

В последние дни Громов побывал в трех соседних отрядах, расположенных в разных кварталах леса. Он встречался с командирами, обсуждал с ними тактику дальнейшей борьбы, договаривался о совместных операциях.

Решил побывать и в Дятлове, познакомиться с Гришиным. Тарас, которого вместе с Лукояном пригласил с собой командир, отговаривал его.

— Расстрелять надо бы Гришина-то, вот и все с ним знакомство,— категорически советовал Тарас.

— Замолчи,— в раздражении оборвал его Громов.

Но Тарас не смутился. Он напомнил командиру, что, если бы Гришин дал тогда пулеметы, их отряд не потерял бы в Козыревке столько людей. Громов промолчал.

...Втроем они вышли рано, до рассвета. В лесу еще лежал хоть и сырой, но глубокий снег. Однако выдался крепкий утренник, и по нему шагать было легко. Твердый снег звучно похрустывал под ногами. К рассвету вышли на широкую просеку. Вразвалку шагавший впереди Лукоян остановился около молодой елки и, улыбаясь, показал на снег. Вокруг дерева валялось много маленьких зеленых веток, словно их кто-то настриг ножницами и разбросал.

— Что это означает? — спросил Громов.

— Есть такой зверек, соня,— шепотом пояснил Лукоян,— значит, она уже проснулась от спячки и жирует. Теперь шабаш, холодам конец.

Лукоян долго вглядывался в густую зелень хвои, чтобы показать соню командиру. Да разве ее найдешь? Прижалась где-нибудь к стволу и наблюдает острыми глазами, готовая в любую секунду прыгнуть на другое дерево.

Когда вышли из леса, лицо Лукояна опять расплылось в улыбке. Он первый услышал бормотание тетерева и вскоре увидел его сидящим на голой березе.

— Вон где токует косач! — протянул Лукоян руку в сторону березы и снова повторил: — Шабаш холодам!

К полудню в долине показался поселок Дятлово. К этому времени дорога уже раскисла от солнцепека, снег разжижился и хлюпал под ногами. На обочинах синели заборы. Увидев поселок, путники сразу почувствовали усталость. До первых домов оставалось всего несколько шагов, как вдруг раздался окрик:

— Стой!

Партизаны остановились и только теперь увидели у крайних домов по обеим сторонам улицы людей, стоящих около пулемета.

— Кто такие, зачем идете? — слышался вопрос, и Тарас узнал говорившего.

— Степка, брось дури! — крикнул он.

Но Степка лег за пулемет, угрожающе повел стволом и крикнул:

— Ложись, стрелять буду!

Громов и его товарищи остановились, с недоумением и тревогой переглянулись. Уж не полицейские ли здесь засели вместо гришинского отряда? Лукоян, заслонив собой Громова, спросил у Тараса, хорошо ли он узнал человека, которого окликнул. Тарас ответил утвердительно. Еще бы не узнать ему Степку Крысина! Тогда Лукоян снял с плеча винтовку, передал ее Тарасу и быстро пошел на пулемет, разведя в стороны руки и показывая тем самым, что он безоружен. От избы еще раз крикнули: «Ложись!»

— Зачем ложиться, еловая голова? Десять человек троих перелугались! Кто тут у вас старшой?

Смущенный решительным напором Лукояна, Степан поднялся от пулемета. Он демонстративно положил руку на пистолет, висевший на правом бедре, и, важно выпятив нижнюю губу, ответил:

— Я начальник поста!

— А для чего же ты в штаны марашь, коли начальник? — деловито осведомился Лукоян, не обращая внимания на воинственную позу Степки. — Нешто не видишь, что мы и оружия с плеч не снимаем? И хотя бы и немцы шли, чего вам троих бояться?

Другие партизаны, разумеется, сочувственно отнеслись к словам Лукояна. Они кликнули и командира с Тарасом, в штаб послали за Гришиным.

Гришин пришел в длинной черной гимнастерке, с расстегнутым воротником и в кожаной фуражке, сдвинутой на правое ухо. Хромовые сапоги щеголевато блестели, тщательно выбритое полное лицо сияло улыбкой.

— А я ведь вас знаю, товарищ Громов, — заговорил он, здоро-

ваясь и улыбаясь.— Незадолго до войны вы приехали к нам в район прокурором. На партийном активе, помню, выступали.

«Значит, коммунист он, если присутствовал на партийном собрании»,— подумал Громов. Гришин тут же пригласил гостя к себе, не обратив внимания на его спутников.

Тарас приблизился к командиру и, словно не замечая Гришина, сказал Громову, что он с Лукояном пойдет домой, к своей матери.

— Потом я приду за вами, Василий Гордеевич, ночевать у нас будем,— сказал Тарас, бросив пренебрежительный взгляд на Гришина.

— Хорошо, Тарас.

Лукоян едва поспевал за своим другом, который, свернув в переулок, все усиливал шаг. Вдруг из окон одного дома послышалась песня. «Скакал казак через долину»,— вразнобой тянули пьяные голоса, стараясь перекричать друг друга.

— Погуливают дятловцы,— сказал Тарас,— защитнички бражничают. Паразиты!

— Да, кому, видно, война, а кому масленица,— заметил Лукоян, замедляя шаг.— И девки там есть. Слышишь, смеются?

Не глядя на окна, Тарас выругался и быстрее зашагал домой. Он торопился увидеть мать.

— Только и умеют, гады, самогонку пить.

Гришин привел Громова к себе домой. Он был приветлив, все время улыбался, излишне суетился.

— Ну, вот мы и дома. Давай, Маша, собирай на стол, угощай,— командовал он жене, без всякой цели передвигал с места на место стулья.

В доме было чисто. На широкой кровати, стоявшей вдоль стены, пестрело лоскутное одеяло, дыбилось с полдюжины подушек в розовых наволочках. На окне стояли два горшка с цветущими геранями, а между ними красовался букет из выкрашенных в малиновый цвет стружек. Он стоял в каком-то старом медном канделябре с рельефным изображением амура. Все убранство дома говорило о маленьком благополучии...

Громов, показав на узкий ковер, висевший над кроватью, пошутил:

— Не боишься, что немцы сопрут? Они большие охотники до таких вещей.

— Мы их так проучили, что и глаз не кажут к нам,— ответил Гришин, наливая в граненые стаканы мутный самогон.— Пять человек тогда убили у них.

— А вообще-то как боевые дела идут? — между прочим спросил Громов.

— Да как сказать,—стараясь быть безразличным, ответил Гришин.— Вот недавно три разведчика подбирались, так мои ребята одного кокнули. И сейчас вон в сарае мундир его лежит. А больше пока не приходили к нам оккупанты. Боятся, видно.

— Ну, а сами вы ходили куда-нибудь на операции?

— Я, видите ли, придерживаюсь другой тактики,—сказал Гришин.— Бить оккупантов, когда они сунут свое рыло к нам.— Подумаю, он значительно добавил: — И если бы в каждом колхозе был такой отряд, как, скажем, у нас, фашистам давно бы пришел конец.

При этих словах Гришин даже поднялся с места. А Громов молча опустил голову, барабанив пальцами по столу. Чтобы заполнить паузу, Гришин взялся за бутылку, собираясь налить еще по одной, но Громов накрыл стакан ладонью: хватит.

— Выходит, нападений на оккупантов вы не предпринимаете? — спросил он после длительного молчания.

— Мы свою территорию защищаем. Полностью восстановили колхоз, Советскую власть. Есть поселковый Совет, правление колхоза, и готовы жизнь отдать за это.

— А для чего вы восстановили поселковый Совет?

— Как для чего? — удивился Гришин.— Что же ты — против?

Гришин улыбнулся, взглянув на собеседника, делая вид, что он принимает его слова за шутку.

— Представь себе, против,—ответил Громов.— Потому что это похоже на детскую забаву. Может, вы и налоги взимаете с колхозников?

От этого вопроса Гришин весь покраснел, и Громов понял, что попал в самую точку.

— Мы должны бить фашистов и днем и ночью,—уже горячо заговорил Громов.— Искать и преследовать их повсюду, а не ждать, когда они придут и станут под мушку. Что это за тактика?

Гришин сразу изменился в лице.

— Я понимаю,—с иронией начал он,— ты на меня в обиде, товарищ Громов, за то, что тогда не помог я вам. Слыхал, в Козыревке неудачу вы потерпели...

— Нет, отчего же? — прервал его Громов, вдруг вспыхнув.— Как раз бой был удачен. Мы перебили там всех офицеров, немало солдат положили, продукты захватили для отряда. Но уж если вспомнить тот случай, то признаюсь, я был очень удивлен вашим отказом. Теперь-то мне понятно.

— Что тут удивительного? Мы получили данные, что на нас из Суземки собирались напасть.

— Тогда вам следовало поставить нас в известность или другой соседний отряд.

— Думаю, что мы справились бы одни. У нас есть пулеметы, и даже ротный миномет имеем. Мин только нет к нему.

— А если бы не справились? — спросил Громов. — Зачем же подвергать опасности целый отряд? Кстати, где вы пулеметы достали?

— Известно, где добывают оружие партизаны, — неопределенно ответил Гришин.

— А все-таки?

— Да уж достали... — улыбнулся Гришин, уклоняясь от прямого ответа.

Разговор шел натянуто, а Громову не хотелось этого. В глазах Гришина появилась тревога, он все чаще брался за бутылку. Уступая его настойчивости, Громов немного выпил из стакана.

— Сколько у вас бойцов в отряде? — спросил Громов.

Гришин как-то заерзал на стуле, украдкой взглянул на гостя.

— Да ведь это военная тайна, — ответил он, стараясь придать своим словам шуточный тон.

— Я это вот к чему спрашиваю, — серьезно заговорил Громов. — У вас много людей. Они потом должны будут отвечать перед Советской властью, чем занимались в такое тяжелое для страны время. Подумайте об этом. Я с вами говорю начистоту, как коммунист с коммунистом.

Гришин стушевался, неуверенно возразил:

— Это еще можно поспорить, кто из нас прав. Мы вот Советскую власть восстанавливаем в Дятлове, а ты, оказывается, против этого.

— Да пойми ты, наконец, что земля-то наша не сошлась клином на Дятлове. Советскую власть нечего восстанавливать, ее никто не отменял. А нам надо страну очищать от фашистов, бить их всеми силами и средствами.

Громов, однако, считал нецелесообразным обострять отношения с Гришиным. Мысленно он уже упрекал себя, что слишком горячо и откровенно начал разговор. Спокойным тоном сказал:

— Положение командира отряда в тылу врага нелегкое. На нас с вами двойная ответственность. Надо друг друга поддерживать, а главное, подчинять свою деятельность одной цели: очищать страну от захватчиков, истреблять их. Посмотрите, что делают фашисты с мирным населением. Ведь это звери, а не люди.

В дом вошла Катя. Она остановилась, с удивлением глядя на Громова. Затем смущенно улыбнулась.

— Здравствуйте!

— Это, дочка, командир отряда «За Россию», познакомься,— сказал Гришин.

— А мы уже знакомы с Василием Гордеевичем,— ответила Катя, подавая руку Громову.— В гости к нам приехали?

— Да вот решили с Тарасом навестить ваш отряд,— сказал Громов, стараясь скрыть лукавую улыбку.

Катя потупила глаза и, видимо, сама чувствуя, что краснеет, тотчас ушла в переднюю комнату. А вскоре хлопнула дверь, и Громов увидел в окно, как девушка поспешно сошла с крыльца. Он снова лукаво улыбнулся, прикрыв рот ладонью и старательно разглаживая свои усы...

Под вечер Василий Гордеевич собрался идти к Тарасу, пообещав Гришину прийти ночевать.

У Тараса Громов застал Катю и заводского сторожа Ермила, который жил по соседству. При появлении гостя старик поднялся с табуретки и как человек, знающий службу, ответил на приветствие:

— Здравия желаем, товарищ начальник!

А Катя, смущенная появлением Громова, собралась уходить. Но ей, видимо, не очень хотелось расставаться с Тарасом. Она держалась у порога.

— Пойдите проводите Катю,— сказал Громов Тарасу, который не решался оставить командира одного.

Лукоян, спавший на полатах, так храпел, что старик Ермил то и дело с улыбкой взглядывал на командира.

От старика Громов узнал подробности дятловского отряда. Оказывается, в поселке живет более двадцати солдат, попавших в окружение. Да и сам Гришин пришел домой из окружения. Рассказал старик и насчет пулеметов. В октябре 1941 года недалеко от поселка батальон нашей пехоты был окружен фашистским полком. С утра до ночи бойцы вели неравный бой с врагами.

— Что тут было!— вспоминал старик.— Все поле покрылось мертвецами. Наших полегло много, а неприятеля и того больше. Нашла, стало быть, коса на камень. Прекратилось сражение, когда стало темно.

Дед Ермил рассказал Громову, как вечером к нему зашел лейтенант. Весь в крови, шинель изорванная. Но держался бодро. Залпом выпив горшок холодного молока, лейтенант попросил старика вывести оставшихся в живых солдат к своим.

— Серьезный такой пришел, хоть и молодой, по фамилии По-

тов,—вспоминал старик.—Если бы, говорит, у нас не кончились патроны, всех бы их тут порешили.

Ночью бойцы зарыли в лесу пять станковых пулемстов, и дед Ермил повел их сначала болотами, потом через лес к пойме реки Нерусы. А там они вышли к своим. Только через два дня дед Ермил возвратился домой. Когда Гришин, пришедший из окружения, создал отряд в Дятлове, старик и сообщил ему о пулеметах.

— Смотри у меня,—строго предупредил Ермил Гришина,—береги. Ответ должен держать я за них перед лейтенантом.

— А ведь у меня вот дума какал,—сказал Ермил, просветлев доброй старческой улыбкой.—Непременно должен встретиться с Поповым-то, командиром. Обещал он. Обнял на прощанье меня, поцеловал, да и говорит: «Не моги, говорит, ты, Ермил, сумлеваться. Вскорости фашистам такую бучу устроим, что небо с овчинку покажется». Да еще выругался крепко, не тем будь помянут. Уж больно запомнился мне этот лейтенант. Орел!

В дверь кто-то осторожно постучал. Громов оглянулся и только тут заметил, что они в доме одни с Ермилом. Не только Тарас, но и его мать куда-то вышли. Громов поднялся, толкнул рукой дверь, и в избу вошел человек в поношенной военной шинели, шапке-ушанке и сапогах.

— Извините, если побеспокоил,—вежливо сказал вошедший. Он представился: — Я политрук роты дятловского отряда Брагин.

— Очень рад с вами познакомиться,—сказал Громов.—Садитесь, пожалуйста. Как вы тут поживаете?

— Живем неплохо. Пришел с вами потолковать кое о чем,—ответил политрук и умолк, взглянув на Ермила.

Старик откашлялся, помедлил минутку, потом поднялся.

— Засиделся я у вас, пора и ко двору, на печку кости греть,—сказал он, прощаясь.

Громов был рад приходу Брагина.

— Я здесь даже считаюсь комиссаром отряда,—начал Брагин, когда из избы вышел старик Ермил.—Но это, пожалуй, формально. Гришин не любит делить власть. И, надо сказать, очень ревнив в этом. Болезненно ревнив.

— Вы сами дятловский? — спросил Громов.

— Нет, я из окружения. В армии был командиром саперного взвода. А тут команду ротой. Хотя, по правде говоря, какая это рота? Всего тринадцать человек. Но уже хорошо то, что она вся состоит из солдат-окруженцев. Гришин, надо отдать ему должное, в свое время собрал этих окруженцев, приютил, накормил. Это были тяжелые для нас дни. Потом Гришин создал отряд.

Слушая, Громов внимательно смотрел на умное, озабоченное лицо Брагина. На лице его не было ни одной морщины, не голова вся седая.

Брагин продолжал:

— Сам по себе Гришин честный человек. И даже храбрый. Я видел его два раза в бою. Но уж очень он ограниченный. Отряд считает чем-то вроде колхоза, а себя, видимо, председателем. Название даже дал отряду «Вперед», как колхоз раньше именовался. До войны он кладовщиком работал тут.

Громов широко улыбнулся, заметив:

— Название хорошее. Только вперед-то у вас не получается.

— Вот в том-то и дело,— согласился Брагин, становясь все более озабоченным.— Гришин упоен своей дятловской славой. Отбили два нападения фашистов, а дальше хоть трава не расти. Сидим всю зиму. Местные люди поддерживают его. Правда, не все. Авторитет Гришина, между прочим, сильно пошатнулся после случая с вашими товарищами, когда они приходили к нам. Очень недовольны были люди, что Гришин отказался тогда идти в бой с вами вместе. Многие даже требовали собрание провести.

Попросив разрешения, Брагин закурил и предложил кiset Громову. В комнате, слабо освещенной коптилкой, было тихо. И только на полатах все еще раздавался могучий храп Лукояна.

— Я пришел к выводу,— начал Брагин, уже волнуясь,— что наше сидение в Дятлове переходит в преступление. Во всяком случае это верно по отношению к нам, военным окруженцам.

Громову нравился политрук. А тот, еще более волнуясь, спросил:

— Можете ли вы принять нашу группу к себе в отряд? За этим я и пришел к вам.

Громов ответил не сразу. Он подошел к столу, спичкой убрал нагар с копилки, посмотрел на пузырек, много ли там керосина. Приблизившись к Брагину, дружески положил ему руку на плечо и сказал:

— Очень хорошо было бы принять такую группу в отряд. Опытные воины, вооружены. Чего лучше? Но уходить вам от Гришина я не советую. Иначе отряд этот неизбежно распадется. А ведь война только начинается! Уже и теперь партизанское движение принимает огромный размах, но все же это только начало. Поэтому самый факт ликвидации хоть одного отряда немыслим. Так что надо укреплять отряд, делать его боевой единицей.

— Но Гришин...

— Надо с ним поговорить. Ведь вы сами говорите, что он честный человек, не трус.

Брагин задумался. Взглянув на него, Громов сказал:

— Между прочим, в Брянском лесу уже есть головной штаб. Он подчиняет все отряды. Я буду на днях там, поговорю.

Брагин уже прощался с Громовым, когда возвратились Тарас и Катя. Девушка по-прежнему стеснялась Громова, и тот начал шутить с ней, приглашал к себе в отряд.

В сениях послышались шаги. Догадавшись, что пришла мать, Тарас сказал:

— Сейчас будем ужинать, товарищ командир.

— Нет, его ждет папа ужинать,— сказала Катя и обернулась к Громову.— Хотите, я провожу вас?

Она с тревогой глядела на Громова, ожидая, что он ответит.

— Хорошо, Катя,— сказал он, улыбаясь.— Тарас поужинает с Лукояном, а я пойду к вам. Только провожать меня не нужно.

Катя бросила на смущенного Тараса торжествующий взгляд.

Ночью опять подморозило. Утром Громов распрощался с командиром дятловского отряда и вместе с товарищами отправился к себе. За околицей у пулеметов по-прежнему сидел Степка Крысин. Он еще не успел смениться. Увидев Громова с Лукояном, Степка озорно крикнул:

— Кто идет?

Лукоян замедлил шаг и тихо, чтобы не слышал командир, сказал начальнику поста:

— Глуп ты, братец, выше всякой нормы.

Степка скорчил ему на прощанье рожу.

VI

Подснежники не пахнут. И, несмотря на это, кто бы ни зашел в землянку, где жил Тарас, каждый тянулся к букету, стоявшему на столе в гильзе из-под артиллерийского снаряда. Уж очень необычно было видеть в прокопченной землянке первые цветы весны.

Постепенно все оживало. Снег растаял, и только в лесных оврагах лежал он, мокрый, серый, покрытый еловыми иголками. А по лесу нельзя было шагнуть — грязь непролазная. Но время брало свое. Лес пробуждался к жизни страстной ликующей песней птиц. Тысячи голосов сливались в сплошной звон, и лишь охотники на зорях без труда выделяли из этого звона хриловатый голос вальдшнепа, низко тянувшего над лесом в поисках подруги...

Но и теперь, в дни бездорожья, партизаны не сидели сложа руки. Отряд «За Россию» готовился к новым предстоящим боям. Разведчики, подрывники, с трудом выбираясь из леса, несли мины

к железным дорогам, вражеским складам, подползали к неприятельским штабам.

Однажды часов в десять утра, когда партизаны, разложив котлы, сидели у землянок, в лагере появилась Катя. Поодаль от лагеря она бросила взмыленную лошадь и торопливо, почти бегом направилась к часовому.

— Лошадь совсем выбилась из сил,— с досадой сказала она.— Вязнет, останавливается.

Катя спросила, где командир, и прошла к нему в землянку. На пороге у открытой двери сидел разутый комиссар Кошелев и читал книжку. Увидев Катю, он быстро натянул сапоги, поднялся и позвал из землянки Громова.

Катя сообщила, что сегодня на рассвете на Дятлово напал крупный карательный отряд и что там сейчас идет бой. Громов, объявив тревогу, спросил:

— Отец прислал?

— Нет, я сама,— сказала девушка.— Он даже на Брагина накричал, когда тот предложил сообщить вам о нападении.

— Ничего не брать с собой, кроме оружия! — крикнул Громов бойцам.

Через пять минут отряд выступил из лагеря. Люди были налегке, некоторые даже без головных уборов. Отряд шел форсированным маршем.

— Отставших не ждать, пусть идут по следу!

Эта фраза, не без умысла брошенная комиссаром Кошелевым, словно подстегнула бойцов. Никто не хотел угодить в положение отставшего.

Бросив в лагере лошадь, Катя тоже шагала вместе с отрядом. Рядом с ней шел Тарас, взял у нее карабин и повесил себе на плечо.

Партизаны двигались напрямик и часам к четырем вышли к опушке леса как раз против Дятлова. Была сделана трехминутная передышка, чтобы разобраться в обстановке. Бой шел уже на противоположной окраине поселка.

Каратели обошли Дятлово и ворвались в поселок со стороны леса, чтобы отрезать партизанам путь к отступлению, и теперь теснили дятловцев к чистому полю.

— Мы у них в тылу. Прямо и насядем с этой стороны.

— А не лучше ли нам сделать иначе,— сказал Кошелев.— В трех километрах река Десна, справа — открытый путь к поселку Навля. Оттуда и пришли каратели. Не выдержав нашего удара, они удрнут.

Громов понимающе улынулся.

Комиссар продолжал:

— Я с первым взводом выйду из леса раньше и вправо, чтобы отрезать им путь.

Отряд бросился к поселку. Вначале бежали молча, но, когда засвистели первые пули врага, раздался голос Громова:

— Вперед, ур-ра-а!

Немцы дрогнули, и дятловцы бросились через свои баррикады в атаку. Громов увидел в их первых рядах крупную фигуру в черной гимнастерке, бегущую с винтовкой наперевес. Это был Гришин. Приостановившись, он бросил гранату, рванул вперёд, и Громов потерял его из виду.

...Около кровати, где лежал раненый Гришин, сидели Громов, Кошелев и политрук Брагин. В комнате — полный беспорядок. Две рамы вышиблены. На полу — разбитые стекла, сломанные герани. Фашисты успели побывать в доме...

Разговор, естественно, шел о прошедшем бое. Кошелев рассказывал:

— Сначала я тоже думал врукопашную со своим взводом. А потом, как хлынули, сомнут, думаю, взвод. Приказал залечь и бить с фланга. Удачно. Ну, а вы как?

— Ребро задела пуля, — сказал Гришин. — Да ведь как обожгла, проклятая!

— Ничего, заживет, — успокоил его Кошелев.

— Дочка, — сказал Гришин. — Ты выйди, пожалуйста. Нам поговорить тут надо по своим делам.

Катя вышла.

— Вот спор-то наш и решился, Василий Гордеевич, — неожиданно начал Гришин. — Даже благодарить тебя стыдно... Ведь если бы не ваш отряд, погибли бы наши дятловцы. Век живи — век учись.

— Да ведь всякое бывает, — сказал Громов. — Поговорим после об этом.

— Тут и рассуждать нечего, — возразил Гришин. — Дураком оказал я себя и чуть отряд не загубил.

— Ты отдыхай, а мы пойдем, — сказал Громов, пожимая Гришину руку. — Поговорить еще будет время.

Командиры распрощались до утра. Громов и Кошелев решили переночевать в Дятлове, чтобы дать отряду отдых.

На ступеньке крыльца сидела Катя. Она плакала.

— Не волнуйся, скоро поправится твой отец,— сказал ей Громов.

Посреди улицы маячила огромная фигура Лукояна. Громов знал, что три дня назад Лукоян ушел в разведку.

— Ты как очутился здесь?

— Еще в полдень услышал бой,— сказал подошедший Лукоян,— но лед ночью прошел, а я остался на том берегу. Мученье! Верста пять пробирался вверх кустарником, нашел худой дощаник и переправился. Да вот опоздал...

Он стоял огорченный и виноватый, этот богатырь, не привыкший опаздывать к бою. Смущенно улыбнувшись, Лукоян сказал:

— А Десна-то, Василий Гордеич, как разлилась! Далеко пошла за межень. Вот теперь у нас дела пойдут по-боевому.

СОЛДАТСКАЯ ЛОЖКА

Партизанский отряд «Отчизна» расположился в сосновом бору. Пропагандист райкома партии Николай Никифоров, ставший теперь политруком роты, пришел в отряд вместе с беременной женой Марией Нестеровой. Ей следовало бы эвакуироваться в тыл, но она не захотела расставаться с мужем.

И вот зимой, чуть ли не накануне нового 1942 года, в глуши Брянских лесов у политрука Никифорова родился сын. Маленькому партизану еще до появления его на свет построили хорошую землянку, из железной бочки соорудили печь, из тонких лоз краснотала сплели красивую люльку, повесили на гибкий вязовый оцеп. Малыш зажил припеваючи.

Отряд, сложившийся вначале преимущественно из партийного актива, к весне сильно разросся. В него влились сотни местных жителей. Партизаны предпринимали налеты на фашистские гарнизоны, подрывали склады, минировали дороги. Своей тревожной боевой жизнью жил отряд.

А Вовка (так называли мальчика) продолжал расти. Кормили его сытно. Об этом, как бы сговорившись, взял на себя заботу весь отряд. Каж-



дый стремился раздобыть что-нибудь пригодное для Вовкиного стола — сахар, крупу, муку, конфеты. За Вовкой была даже закреплена отдельная корова, реквизируемая разведчиками у старосты села Козловское.

Бывало, партизаны переживали трудности с продуктами. Им приходилось есть несоленое конское мясо или кашу из ржи, которая, как известно, не разваривается. Но эти трудности не касались Вовки. Отряд считал бы себя опозоренным, если бы ребенок хоть один день испытал нужду в необходимых продуктах. У разведчика Фили Кротова в сумке был специальный карман, застегнутый на две пуговицы, где хранился небольшой запас соли, сахара и пшена — «Вовкино НЗ». И если нужда заставляла отдать этот запас Марии Нестеровне, то Фили немедленно отправлялся в разведку и без «НЗ» не возвращался.

Оберегаемый всем отрядом, Вовка провел в лесу вторую зиму. Весну 1943 года он уже встретил на собственных ногах, обутых в брезентовые сапоги, которые ему сшили в отряде. По примеру взрослых малыш важно прятал свою алюминиевую ложку за голенище сапога, чем приводил весь отряд в восторг.

— Теперь Вовка проживет на подножном корму, — с восхищением шутил разведчик Филия, особенно привязавшийся к мальчику.

Лесной воздух чист и живителен. Маленький партизан рос крепким и не признавал никаких детских болезней. Вздернутый кверху нос его утопал в налитых румянцем щеках, покрытых загаром. Больше всего, конечно, он находился с матерью. Но с наступлением весны мальчик стал гулять по всему лагерю, вооруженный деревянной винтовкой. Так и жил полуторогодовалый партизан, не ведая бед. А беда к нему уже подкрадывалась...

Весной 1943 года перед наступлением на Орловско-Курской дуге гитлеровское командование поставило цель — истребить брянских партизан, обезопасить свои тылы и свободно подбрасывать по железным и шоссейным дорогам войска и боеприпасы к фронту. На леса было брошено пять кадровых фашистских дивизий. Соединения пехоты, артиллерии, танковых частей, взаимодействуя с авиацией, обрушились на партизанский край. Отрядам пришлось вести кровопролитные бои, маневрировать, делать большие переходы. Вместе с отрядом «маневрировал» и Вовка. Огнем сдерживая напор гитлеровцев, партизаны всячески оберегали мальчика и его мать, прятали их в окопах, канавах. Но бои шли круглые сутки, и жизнь ребенка постоянно была в опасности. В одном месте фашисты зажали отряд между болотом и рекой Десной. Отстреливаясь, партизаны

пятились по узкой тропе, не имея возможности сдержать напора противника. Положение было безвыходным.

Филя лежал рядом с комиссаром Кожанковым, спокойно стрелял, медленно отползая назад.

— Вот ведь горе какое,— проговорил он тихо,— пропадет мальчонка. И как спасти его?

Комиссар, внезапно осененный какой-то мыслью, обернулся в сторону Фили, затем, подобрав под себя ноги, поднялся во весь рост.

— Товарищи! Вовка в опасности! В атаку! Ура!

Партизаны бросились вперед, противник дрогнул, не выдержав удара, начал отступать, а через несколько минут фашистский батальон был сброшен в Десну и почти полностью уничтожен.

Огневое кольцо, однако, сжималось вокруг партизанского края. Создалась угроза окружения. Командование решило снять все партизанские бригады с рубежей обороны и концентрированным ударом прорвать вражеское кольцо. Операция эта была проведена ночью. А с наступлением рассвета партизаны неожиданно всей силой обрушились на гитлеровцев с тылов. Теперь фашисты замесались, стараясь провести перегруппировку сил и оторваться от преследования.

Когда в результате маневра положение улучшилось, партизаны смогли принимать у себя ночью с Большой земли самолеты, груженные боеприпасами. Обратно на этих машинах отправляли раненых бойцов, детей. Решено было отправить на Большую землю и Вовку.

...Ночь. Вокруг самолета суетятся люди. Мария Нестеровна стоит, дожидаясь очереди, чтобы подать в машину Вовку. Мальчик равнодушно глядит на красные, возбужденные лица незнакомых людей, освещенных неверным светом костра. Он хочет спать... Судорожно прижимая к груди ребенка, мать незаметно утирает слезы о его рубашонку и, стараясь быть как можно спокойнее, говорит:

— Вот сейчас, Вовочка, ты полетишь и я за тобой.

— И я тоже, сынок,— дрогнувшим голосом вторит жене Никифоров.

В это время к машине подошел Филя.

— Прощай, Вова!

Узнав разведчика, мальчик протянул ему руку. Филя крепко поцеловал пухлую ладонь маленького приятеля и серьезно, как взрослому, сказал:

— Увидимся ли, братец, еще раз?

— Давайте ребенка,— крикнул сверху пилот, протянув обе руки. Голос его словно от сна пробудил Марию Нестеровну. Она подняла мальчика, поцеловала его крепко, и Вовка исчез в темном чреве самолета. Стоявшие партизаны увидели, как в последний раз мелькнула алюминиевая ложка, торчащая из голенища сапога маленького партизана. Машина дрогнула и пошла на старт для разбега.

Как окаменевшая, стояла Мария Нестерова на площадке, провожая взглядом уходящий самолет. Два чувства боролись в ее сердце. Она радовалась, что через несколько часов ее сын будет на Большой земле, в полной безопасности от вражеской пули. Но не последний ли раз видела она его? И в голове матери тотчас рисовалась горькая судьба маленького сироты. И только теперь она вспомнила, что в суматохе забыла положить ребенку в карман записку: чей он, как его зовут...

После разгрома гитлеровцев на Брянском фронте осенью 1943 года партизаны соединились с войсками, и через две недели Брянские леса стали глубоким тылом. Политрук Никифоров был направлен в один из районов Брянской области секретарем райкома партии. Они с женой, конечно, сразу принялись разыскивать сына. Было известно, что самолет сделал тогда посадку в Курске, куда Никифоровы послали первый запрос. Оттуда пришел ответ, что раненых партизан и ребенка в санитарном поезде отправили в Москву.

Во все концы были посланы запросы, и ответы на них приходили неутешительные. Мальчик Вова Никифоров в списках эвакуированных нигде не значился. Тогда отец взял отпуск, это было уже в декабре, и поехал, чтобы по следам разыскивать сына. Он начал свое путешествие с Курска, потом был в Москве, посещал детские дома и эвакупункты. В одном из них он напал на след. По журналу эвакупункта значилось, что партия детей, вывезенных из Курской области, отправлена в Челябинск. Никифоров решил поехать туда.

В Челябинске он зашел в обком партии. Его устроили в гостинице, снабдили обеденными талонами. В школьном отделе обкома дали все адреса детских домов.

Два дня отец ходил по городу, и все безрезультатно.

Усталым и разбитым возвращался он в гостиницу вечером, раздеваясь, падал на кровать и долго лежал с открытыми глазами, забывая сходить в столовую. В записной книжке осталось три детских дома, в которых он не успел побывать. Это сокращение адресов пугало Никифорова: куда идти потом? Ведь могло быть и так, что ребенка кто-нибудь взял на воспитание, даже усыновил его. И,

может быть, живет теперь где-то поблизости маленький партизан под чужой фамилией...

На следующий день утром Никифоров опять отправился на поиски. На этот раз адрес привел его на окраину Челябинска, в рабочий поселок. Никифоров остановился перед двухэтажным домом, обнесенным решетчатой изгородью из свежего теса. С волнением и тревогой прошел он к директору.

Пожилая полная женщина с седыми прядями волос внимательно выслушала его. Она пригласила воспитательниц, в присутствии которых Никифоров еще раз повторил приметы сына. Женщины начали перебирать в памяти ребятишек, вслух называя одного по имени, другого по фамилии.

— Вовкой зовут,— напомнил Никифоров.

— Да у нас их двенадцать, Вовок-то,— улыбнувшись, сказала директор.

— А нельзя ли на них взглянуть?

— На прогулку ушли, скоро вернутся.

Директор достала из стола список детей. Начали смотреть, кто откуда приехал. Вовки были из Ленинграда, Ростова, из Сталинградской области.

— Из Брянска нет ни одного,— грустно сказала женщина, оторвавшись от бумаг.

— А из Курска? — робко спросил Никифоров.

Директор еще раз просмотрела список.

— Из курских... одна девочка.

Женщины умолкли, не решаясь взглянуть на гостя, словно виноватые чем-то перед ним.

— Не Костриков ли это, Мария Георгиевна? — проговорила наконец одна из воспитательниц, обращаясь к директору.

— Тот ведь из Москвы, вряд ли...

— Фамилия-то... Никифоров,— тихо напомнил отец.

— Видите ли,— сказала женщина,— осенью к нам привезли мальчика из Москвы. Ребенок знал только свое имя. Мы и записали его Костриковым. Постойте...— задумалась женщина,— помнится, он что-то говорил, что его мама в лесу.

Искра надежды снова вспыхнула в душе Никифорова.

— Вашему мальчику два года? — спросила директор. — А Кострикову, пожалуй, около трех будет. Впрочем, может быть, и два с половиной... Потом, вы говорите, у него белая головка, а у этого темная... Принесите-ка вещички Володи Кострикова,— обратилась она к сотруднице.

— Мы, знаете ли,— пояснила Мария Георгиевна,— когда к нам

привозят ребят, одеваем их в новое. А старую одежку сохраняем. Может, думаем, по вещам кто узнает ребенка. Время-то какое? Война! Родители считают детей погибшими, а они вдруг оказываются живы. Мучаются, бедные, ищут своих детей. Много таких случаев. А ребенок через год так изменится, что и узнать нельзя.

Женщина принесла холщовый мешочек, зашитый нитками. Она распоролла шов и достала бумажный клетчатый платок. Никифоров видел этот платок впервые, и сердце его сжалось от тоски и боли. Вспыхнувшая надежда погасла.

Но вот женщина извлекла из мешка противогазную сумку и вытряхнула из нее сапоги... брезентовые. Побледневший отец поднял обувь и молча приник губами к сапогу. Из сапога что-то выпало, глухо звякнув о паркетный пол. То была алюминиевая ложка, солдатская ложка маленького партизана.

ОТЗОВИСЬ, ЕСЛИ ЖИВ

В русской деревне редкий мальчишка живет без прозвища. В большинстве случаев ребята так привыкают к своим прозвищам, что забывают собственные имена. А из-за этого иногда возникают курьезные случаи.

В брянской деревне Думинино у меня был друг, которого я разыскиваю на протяжении многих послезонных лет. Наше знакомство с ним продолжалось всего несколько минут. Но тем не менее я считаю этого человека лучшим своим другом, какого редко можно встретить в жизни, потому что именно жизнью — ничем иным! — обязан я ему...

Впрочем, начну все по порядку.

...Командир отряда «Тревога» Никанор Балянов вызвал нас, разведчиков, к себе в землянку. Дело было в ноябре. Приближалась зима. Резкий холодный ветер гудел в оголенном лесу, как в трубе. Из шалашей и палаток партизаны перебирались в «зимние квартиры». Целыми днями в землянках топились печи, благо дров — хоть отбавляй.

— Надо будет прощупать оккупантов, — говорил командир, провожая нас в разведку. — После боев



фашистские части что-то уж очень притихли. Наверно, думают зиму в тепле отсидеться. А нам их на мороз, как тараканов, выгонять надо. Вот и выясните, есть ли пополнение в этих гарнизонах.

Балянов приказал побывать в селе Колбино, где был расквартирован эсэсовский полк фашистского майора Вэйзэ. Тот самый полк, с которым наш отряд две недели назад выдержал семь дней почти непрерывных боев.

— Может быть, сможете уточнить их потери,— сказал командир.

Группой в пятнадцать человек мы ушли в разведку налегке: автомат, необходимый запас патронов и немного продуктов.

У разведчиков есть железное правило: находясь в расположении противника, всеми силами стремиться не обнаружить себя, ни в коем случае не вступать в бой, даже если он и представляется безопасным. И мы строго следовали этому правилу до последнего дня.

Утром радист сообщил в отряд наше местонахождение, передал, что мы движемся к лесу. На горизонте уже виднелась синяя бесконечная полоса партизанских владений.

Перелесками, балками мы неторопливо пробирались к отряду, уже помышляя о спокойном отдыхе в теплой землянке среди друзей...

В одном месте нам встретилась на пути канава, размытая внешними водами. Она тянулась по склону вдоль проселочной дороги. На дне канавы обнажился глинозем, но первые морозы уже схватили поверхность, и мы свободно шли по дну. Вдруг впереди на дороге мы заметили большую толпу народа. Мелькали белые, красные платки, и толпа выглядела как-то даже празднично на унылом фоне побуревших полей. В памяти живо предстала довоенная картина, когда в весенние дни колхозники, особенно молодежь, большими толпами ходили в соседние села на совместные гулянки.

Мы решили выяснить, что означает это многолюдное шествие. Залегли в канаве, замаскировали себя старой стерней и стали ждать.

— Только держать себя в руках, не показываться, что бы ни случилось! — строго предупредил командир нашей группы Дроздов.

Толпа приближалась медленно. Наконец мы заметили, что над пешеходами маячат вооруженные конвоиры.

Расстояние постепенно сокращалось, и до нас стали долетать приглушенные голоса, словно из-под земли.

Вскоре мы стали различать и пеших конвоиров. Их было человек двадцать.

— Ведь это они на станцию их. В каторгу угоняют людей, сволочи,— тихо проговорил не своим голосом Дроздов, и мы замети-

ли, что нижняя челюсть его трясется, словно он продрог на жестоким морозе.

Идут, идут люди, тяжело переставляя ноги, и глухо о чем-то гудят. И вдруг над этим гуденьем высоко взвился девичий голос:

Последня-ай нынешний денечек
Гуляю с вами я...

Толпа загудела сильнее, протестуя... Рожденный отчаяньем в глубине больной груди голос оборвался. Мы лежали молча, не сводили глаз с этой процессии.

Вслед за конвоиром впереди всех шла высокая, стройная, смуглая женщина в черном мужском пиджаке и черном берете. По исхудавшему, несколько удлинненному лицу трудно было определить ее возраст. Эта женщина со строгим красивым профилем и плотно сжатыми губами чем-то напоминала боярыню Морозову с картины Сурикова. Она шла ровно, высоко неся голову и устремив вперед большие серые глаза. Рядом, с правой стороны, переваливаясь, тяжело ступала полная старуха. Слева, цепляясь за полу пиджака высокой женщины, часто перебирала ножками девочка лет семи, в шерстяном платке и жакете с плеча взрослой.

Больше всего в толпе было девушек. Я смотрел на этих полных, и невольно рисовались картины далекого прошлого. Вот так же около тысячи лет назад, по тем же самым землям полудикие воинственные печенеги, половцы, татары уводили в плен русских девушек. Только путь тех лежал обычно на восток, а нынешних — на запад...

Сзади всех шел старик в серых валенках, поношенном, но опрятном пальто. Он опирался на длинную суковатую палку, сильно хромал, часто останавливался. Солдат толкал его прикладом. Старик, видимо, совсем выбивался из сил, и когда он отстал шагов на двадцать, к нему подошел конвоир — молодой офицер, затянутый в щегольской мундир. Выругавшись, он стал бить старика палкой. И в этот момент Будников нарушил железное правило разведчика...

В воздухе резко прозвучал его выстрел, процессия остановилась. Над окаменевшей толпой повисла тишина, в которой слышался глухой стон офицера. Тишина длилась несколько секунд. Мы ловили на мушки конвоиров и били их, стараясь не задеть пленников. Трех конных офицеров мы спешили, но тот, что ехал впереди, удра. Остановив коня вполоборота, он нажал гашетку автомата и выстрелил. Старуха грузно опустилась, обняв ноги высокой женщины. Не оглядываясь, офицер хлестнул коня плетью и ринулся вперед.

Оказавшись в хвосте колонны, мы не могли стрелять по нему через головы людей. Спихватились и пешие фашисты, бросились бежать в сторону от дороги. Из них спаслось только двое, успевших укрыться за бугром.

Три конвоира оказались хитрее. Они смешались с толпой и заградили себя от пуль. Один даже сделал выстрел в нашу сторону. Но его выстрел вывел людей из оцепенения. Сообразив, в чем дело, они бросились на фашистов и быстро их обезоружили. Только рыжий верзила сопротивлялся дольше всех. Он вертелся, отбиваясь автоматом, как палкой. Но скоро и у него на руках повисло несколько человек, а спереди коршуном налетел подросток и ударил его эмалированным чайником по голове. Падая, фашист выстрелил, и мальчик, вскрикнув, ткнулся лицом в землю.

— Ну, товарищи,— сказал Дроздов, когда с конвоирами было покончено,— возвращайтесь все по домам.

Люди начали расходиться, и через полчаса уже никого не было видно, словно все ушли сквозь землю.

Продвинувшись балкой километра полтора вперед, мы свернули влево, чтобы уклониться от дороги. Тем более, что впереди показалось какое-то селение. Нам было известно, что в селе Звень находился крупный карательный отряд, и он, конечно, немедленно выступит в погоню за нами. Туда и удрал фашистский всадник.

Каратели не заставили себя долго ждать. На дороге вскоре появились две открытые грузовые машины, набитые солдатами, и одна легковая. Мы залегли в бурьяне.

Машины остановились на том месте, где произошло наше столкновение. Вероятно, каратели заметили трупы, но задерживаться не стали, быстро покатали вниз по дороге, к селению.

Мы же продолжали двигаться в другую сторону, теперь почти в противоположную от партизанских отрядов. Время было около часа дня. Длинной и темной осенней ночи — вот чего мы хотели теперь больше всего. И если до наступления темноты мы уцелеем, увернемся от столкновения, тогда даже вражеский полк не страшен. Шли мы очень осторожно, полусогнувшись, чтобы фашисты не смогли нас заметить. Главное — выиграть время, дожидаться темноты.

Заметив впереди перелесок, мы устремились к нему.

Мы, возможно, и добрались бы до леса незамеченными, если бы вдруг нас не заметил фашистский самолет «Фокке-Вульф» — неуклюжий двухфюзеляжный разведчик. Он появился внезапно, потому что шел низко. Заметив нашу группу, самолет сделал крутой вираж и стал набирать высоту, открыв огонь из пулемета. Мы хотели было дать залп по нему, но Дроздов категорически запретил.

— Сбить его трудно автоматом,— сказал он,— а патроны надо беречь. Они нам, как видно, скоро потребуются. Фашист ведь тоже не рассчитывает поразить нас огнем. Он стреляет, чтобы показать карателям, где обнаружил нашу группу.

Так и шли мы в сопровождении «Фокке-Вульфа», который непрерывно вел огонь короткими очередями. Лес оказался довольно обширным. Вокруг него к тому же было много кустарников. Дроздов просто в восторг пришел от этого урочища. «Здесь мы повоюем!» — сказал он.

Огромной подковой лес обнимал Думинино — тихое, опрятное селение. Все дома были крыты тесом, и почти около каждого из них возвышались могучие старые осокори, на которых чернело множество грачиных гнезд.

Воздушный разведчик не зря кружил над нами. Скоро мы увидели, как луговой дорогой мчались два знакомых грузовика, мелькая между ракетами и молодым ольшаником. Самолет еще раз сделал над нами круг, резанул воздух пулеметной очередью и скрылся. Через несколько минут солдаты строем вышли из деревни и двинулись к лесу. Приблизившись, они открыли бешеный огонь из пулеметов, автоматов, даже слышались редкие взрывы снарядов. Вероятно, по нашей группе бил ротный миномет.

— Психическая атака,— с иронией сказал Дроздов, улыбаясь.

Этот иронический тон и спокойная улыбка командира в такой момент очень дороги солдату. Она ободрила людей, вселила уверенность.

— Если бы они шли по лесу молча, без выстрела — вот тогда страшно,— заметил командир.— А сейчас сразу видно, что и сами они трусят.

Мы отошли в глубь леса. Карателей было не менее сорока. Не прекращая огня, они двигались развернутой цепью, но всего леса, разумеется, охватить не могли. И мы учитывали эту слабость нашего противника.

Когда фашисты прочесали более половины массива, мы еще не были обнаружены. Но дальше пятиться было уже опасно, потому что лес сужался. Мы залегли у самой опушки, рассчитывая пропустить вражеский отряд. Из укрытия мы уже видели движущихся солдат и мысленно радовались, что вот-вот фашисты покажут спины. И вдруг где-то рядом рывкнула овчарка. Пес рычал, извивался на задних ногах, порываясь броситься на нас. Солдат с трудом удерживал его на сворке, а сам пятился назад, в испуге глядя на нас и не решаясь стрелять.

Поняв, что мы обнаружены, и зная, как опасна для нас овчарка,

командир выстрелил по ней. Собака завизжала, раненый ее поводья огласил лес пронзительным криком. И тут же послышался резкий, отрывистый голос фашистского офицера. Отряд немедленно повернулся и стал нас теснить к опушке. Мы залегли и стали отстреливаться.

— Пропа-али! — неожиданно тягуче простонал боец Заплаткин.

— Молчать! — рявкнул Дроздов, повернув в его сторону дуло автомата.

Дроздов распахнул стеганку и судорожно оборвал верхнюю пуговицу гимнастерки. Видно, минутная трусость товарища бросила его в жар...

Около получаса усиленным огнем мы сдерживали противника. Пуля ранила нашего командира в голову, он положил на рану перчатку, плотно придавил ее шапкой. Перевязывать рану было некогда. Такого напряженного боя мы долго выдержать не могли, потому что запас патронов скоро бы иссяк. К тому же часть фашистов уже проникла по обеим сторонам к окраине леса. Еще минута — и мы окажемся в мешке.

— Отходите прямо в деревню, только вразброс! — приказал Дроздов, и мы немедленно бросились туда, петляя в редколесье.

Триста метров, отделявшие от нас Думино, мы проскочили мигом. Кое-кто уже залег у крайней избы, щелкали затворами, как вдруг беззвучно ничком упал несколько отставший Афанасий Гусаров, радист нашей группы. Разрывная пуля угодила ему в затылок.

Немцы не выходили из леса, но отчаянно стреляли по деревне.

— Не робей, ребята! — спокойно говорил Дроздов. — Скоро начнет темнеть, и мы оставим их с носом.

На огонь карателей мы отвечали теперь редко, короткими очередями. После минутной передышки решено было перейти на другой конец деревни. Поэтому, не видя укрывшихся в лесу немцев, мы все же стреляли, чтобы создать впечатление, что залегли в обороне надолго.

Отходить начали по одному. Осторожно перебирались от дома к дому. На улице не было ни души. А немцы продолжали обстреливать.

Через полчаса мы все собрались на другом конце деревни. Держа автоматы наготове, ложбинкой, между кустов шли к лесу, к тому месту, где входили в него каратели. И вдруг...

— Стойте! Стойте!.. — закричал кто-то сзади.

Из деревни верхом на мохнатой карей лошаденке к нам галопом мчался мальчик. Лошадь была пузатая, и короткие ноги мальчишки почти горизонтально лежали на ее крутых боках. С каждым

взмахом коняги маленький всадник вскидывал локтями, словно крыльями.

— Там засада, немцы полицаев оставили с пулеметом,— сообщил он, подъехав.— Идите лучше вот в эту сторону, здесь не опасно.

Мальчику было не более десяти лет. Шмыгая носом, он говорил горячо, торопливо, боялся, как видно, что ему не поверят.

— Вон у тех ракит пулемет. Честное пионерское, дядя!

Мы, конечно, не сомневались, что он говорит правду. Осведомленность сельских ребятишек в военных делах нам была хорошо известна. В прифронтовых районах это были самые информированные люди. Впрочем, сообщение мальчика тут же подтвердилось: только мы, изменив направление, прошли шагов пятнадцать-двадцать, как из ракит донеслись выстрелы, вокруг нас засвистели пули. Но расстояние было большое, пули ложились неточно.

— Вот видите! — с торжеством сказал мальчик и, ударив лошадь, с места поднял ее в галоп.

Я шел последним и вдруг услышал, как заржала лошадь. Обернувшись, с ужасом увидел, что она бьется на земле, а маленький седок лежит рядом. Подстреленный конь придавил ему ногу. Подбежав, я приподнял животное за гриву и помог мальчику освободиться.

— Не ранен?

— Нет, только коленку ушиб... немножко.

— Как тебя зовут?

— Кеша.

— А фамилия?

— Да вы бегите скорее, дядя, а то они быстро перережут вам путь. Я знаю, они в клещи хотят вас зажать.

Выдернув ногу, он повернулся и быстро побежал от меня, прихрамывая.

На опушке у леса мы остановились, прислушиваясь, не приближаются ли к нам враги. Но кругом неожиданно все стихло. Сумерки плотно ложились на землю. Стрельба прекратилась, все насторожилось. В сгущающейся темноте постепенно стали расплываться предметы: с лугов куда-то исчезли кустарники, на отдаленных полях выровнялись холмы. Дома, осокори в Думинино потеряли свои очертания. Небо кругом затянуло тучами, и только на юго-западе ярко выделялся чистый бирюзовый квадрат.

— Напоролись бы мы на пулемет, кабы не мальчонка этот,— нарушил молчание Дроздов.— Подпустили бы они нас шагов на двадцать и всех покосили.

Чей он, этот мальчик, откуда узнал о засаде, как отважился

предупредить нас прямо на глазах у полицейских? Сам он решил или кто из взрослых научил?

Я достал блокнот и в темноте записал на память имя Кеши. А вдруг, думалось, придется с ним когда-нибудь еще встретиться.

Отдохнув, переобувшись, мы двинулись в отряд. Последние километры шли медленно, едва преодолевая усталость. Дроздов всю дорогу был мрачен, лишь иногда повторял в отчаянье: «Эх, Афоня, Афоня!» Он сам нес рацию Гусарова и почему-то ни за что не хотел передать кому-нибудь, хоть ненадолго.

Заплаткину он сказал всего несколько слов, когда мы уже подходили к лагерю:

— За это расстреливают на месте. Не годитесь вы больше для разведки. В такой напряженный момент дрогнул, трусил...

Страшные, убийственные слова! После этого мы все, не только Заплаткин, шли в тягостном молчании. Разговор не ладился, настроение было подавленное.

Несмотря на то что было около двух часов ночи, командир отряда Баянов еще не спал, поджидал нас. И как только мы появились в лагере, командир тотчас позвал всех к себе в землянку. Какой теплой, уютной показалась она нам теперь, после двухнедельного скитания на холоде!

Баянов сидел на своей постели одетым. Он поднялся нам на встречу, но внезапно остановился, забыв даже поздороваться.

— Убит? — с тревогой спросил он, заметив на плече Дроздова рацию.

— Да...

Командир рассеянно переводил взгляд с одного на другого, а потом поник головой. В продолжение длительной паузы мы стояли, виновато потупив глаза. В таких случаях неизбежно чувствуешь себя виноватым перед погибшим товарищем. Кажется, уж виноват ты и тем, что остался жив, а его нет...

— Расскажите подробнее, — приказал командир и, взглянув на нас, добавил: — Вы садитесь, товарищи, отдыхайте, курите, кто хочет.

Дроздов последовательно начал докладывать о событиях минувшего дня. Командир слушал его внимательно, иногда задавал вопросы, уточняя что-нибудь. Лицо его, в глубоких морщинах, усталое, как бы застыло в своей неизменной удрученности.

К нашей общей радости, Дроздов умолчал о поступке Заплаткина. Поощрил ли он при этом оплошавшего разведчика или командира? Вернее всего, и того и другого.

Эпизод с мальчиком оживил командира, смягчил его.

— Совсем еще ребенок! На лошади, говоришь, догнал? По-

ложим, деревенским ребятам верховая езда — не диковинка. Как звать мальчика?

Все должен видеть, подметить, запомнить разведчик!

Но в тот момент Дроздов был поглощен сообщением Кешы. Ему, отвечающему за жизнь своей группы, надо было немедленно принимать решение, а не расспрашивать, кто он, откуда.

Заметив смущение Дроздова, Балянов вскинул на него удивленный взор.

— Зовут его Кешей,— подал я голос, полагая, что мне удастся как-то смягчить положение командира.

— Как? Да разве это имя? Уличное прозвище мальчишки, кличка. Фамилию надо было спросить,— с нескрываемым недовольством проговорил командир.

Он достал из кармана трубку, набил ее, не вынимая из кисета, и затем долго уминал прокопченным пальцем табак. Прикурив, глубоко затянулся, повернул голову в сторону, выпустил густую струю белого дыма.

— В такой обстановке ребенок проявил героизм! К ордену бы его. А вы... Впрочем, идите отдыхать. За разведку благодарю.

Впоследствии мне еще раз довелось быть в Думинино. К великому огорчению, командир оказался прав насчет имени мальчика. Спрашивал я у многих односельчан, но они не знали, кто это. До сих пор не могу найти своего друга.

Хочется мне увидеть его, обнять.

Если ты жив, Кеша, и тебе попадутся на глаза эти строки — отзовись.

ГИБЕЛЬ КОМЕНДАНТА

Коротка летняя ночь. Едва наша диверсионная группа успела перейти линию фронта, как наступил рассвет. Конечно, эта «линия» весьма условна, она не обозначена, скажем, окопами или колючей проволокой.

Как во сне, помню сутулую фигуру проводника с винтовкой, бесшумнодвигающуюся впереди. Он шел уверенно и спокойно. А когда миновали суходол, заросший ольховником, остановился, участливо улыбнулся и сказал:

— Вся опасность позади. Дальше — партизанская зона.

Так в июне 1942 года наша группа подрывников оказалась в партизанской зоне. Здесь-то и суждено нам было встретиться с Перфилием Беловым, человеком, несмотря на возраст, неукротимой энергии и необузданной гордыни. Встретили нас партизаны дружелюбно.

— Ну, москвичи, рассказывайте, что там, на Большой земле, делается.

Как на грех, среди нас не было ни одного москвича. Но мы умолчали об этом. Партизаны около года были лишены привычной связи с Москвой, с центром. И всякий, явившийся к ним из-за линии фронта, — москвич.



Гостей поместили в просторный четырехугольный шалаш, сооруженный под громадной липой. Забросанный сверху ветками кустарника и толстым слоем травы, шалаш был почти невидим под кронами липы. Внутри его стоял продолговатый стол. Вернее — широкая сосновая доска в вершок толщины, накрепко прибитая к двум столбам, врытым в землю.

Коллеблющийся язычок самодельной свечи тускло мигал в консервной банке, что стояла на краю стола. Вдоль трех стен шалаша были устроены нары, на них валялась одежда, пересыпанная сенной трухой.

В шалаше пахло хвоей, древесными листьями и свежей травой. Улавливался острый, приятный запах полыни, которую партизаны использовали как средство против блох. На нарах лежали винтовки, подсумки, а из-под стола поблескивал приклад ручного пулемета.

Откуда-то доносились пулеметные очереди. К этим выстрелам партизаны проявляли полное равнодушие. Мы тоже старались делать вид, что не замечаем их.

— А скажи, пожалуйста,— спросил один из партизан, растянувшийся на нарах в обнимку с винтовкой,— деньги наши в ходу теперь?

— То есть... а как же! — ответили удивленные подрывники.

— Да ведь мы совсем отвыкли от них здесь. На что они? Как-то отобрал я у старосты в Пьяном Рогу пятьдесят тысяч. Целая котомка. Богатство! Зашел в крайнюю хату. «Продай,— говорю,— глечик молока». А он, старый хрыч, крутит на палец бороду, косится на котомку: «Денег,— отвечает,— мне твоих не надо. Если винтовка лишняя найдется, так я за нее последний пуд сала не пожалею». Молоком напоил, конечно, но от сала я отказался. Здесь так: каждый норовит обзавестись винтовкой...

Как известно, русский человек способен быстро обжиться на новом месте, свыкаться с непривычной обстановкой, как бы она ни была трудна. Через десять-пятнадцать дней мы уже не чувствовали себя новичками в отряде. Вместе с другими стояли в дозоре, пилили дрова для кухни, ходили в разведку, привыкали сами стирать белье.

В свободное время я любил бродить по лесу.

Как-то в теплый погожий день я долго гулял в окрестностях лагеря. Ягоды собирал. На полянах было много клубники, а в бору костяника, земляника, да и черника уже подходила.

Шаг за шагом продвигаясь, я вдруг обнаружил, что подошел совсем близко к опушке. Солнце сильно припекло, я спустился в

ложок и заспешил обратно в отряд, чтобы не опоздать к обеду.

— Чего тут шляешься? — неожиданно послышалось справа.

Вопрос был задан таким тоном, как если бы говоривший застал меня в собственном саду. Мгновенно обернувшись на голос, я увидел в десяти шагах высокого прямого старика в брезентовом плаще с обтрепанными полами и в малахее неопределенного цвета. Поверх плаща на груди, почти у самого плеча, на полосатых лентах висели три георгиевских креста. Длинные сухие ноги незнакомца до колен были обернуты цветистой немецкой плащ-палаткой и аккуратно перевиты пеньковыми веревками. Неуклюжие лапти обшиты снизу сыромятной кожей. Впалые щеки незнакомца покрыты редкими черными волосами, сквозь них проглядывал старческий румянец. Большой, выгнутый вперед подбородок удлинялся узкой бородой, из-под которой сильно выдавался кадык.

В опущенной руке старик держал за цевье карабин.

— Что молчишь, али язык проглотил? Кто таков? — грозно наступал он. Черные, глубоко посаженные глаза глядели на меня неподвижно, враждебно.

Ловким движением старик вдруг подбросил карабин и зажал его под мышкой, направив прямо на меня дуло. Я тоже положил правую руку на шейку приклада, а левой взялся за диск автомата.

— А ты кто?

— То-то и видно, что...

Неожиданный окрик помешал ему докончить фразу.

— Парфен! Зачем пугаешь людей?

Этот окрик принадлежал моему новому товарищу из отряда Семке Голубцову. Откуда-то возвращаясь в лагерь, он случайно оказался свидетелем нашего столкновения с Парфеном. Приблизившись, Семка сказал:

— Москвич это. Слыхал, наверно, к нам пришли недавно?

— Слыхал, да не видал, — ответил недовольным тоном старик и, не унимаясь, снова обернулся ко мне: — А для чего же ты по лесу шатаешься?

— Просто хотел прогуляться.

— «Прогуляться»! — передразнил он. — Пора отвыкать от глупостей-то. Кажись, не гулять сюда прислали!

— И чего ты, Парфен, привязался к человеку? — вступился за меня Семка. — Если б не я, прострочил бы он тебя из автомата, и — лапти врозь.

— А ты иди своей дорогой, пустомеля, — огрызнулся старик, с презрением взглянув на моего заступника. Не простившись, он круто повернулся и пошел, размахивая карабином. Как журавль, вскиды-

вая длинные ноги, Парфен шагал легко, высоко поднимая голову. Сквозь засаленный плащ, плотно облежавший худые плечи старика, черными пятнами выступали острые лопатки.

— Ну и характер, право! — воскликнул Семка.

— А что это он регалии-то развесил? — спросил я.

— С ним насчет этого поосторожнее, — предупредил Голубцов. — Полный егорьевский кавалер! Один крест потерял, видно, где-то. В ту войну восемь раз ходил в штыковую. Как-то старшина наш сдуру задел его. «Чего, мол, это ты, Парфен, николаевскими отличиями расхвастался? Постыдился бы». Парфен чуть голову не расшиб ему прикладом. «Мне, — кричит, — наплевать на Николая, да и на тебя, дурака, вместе с ним. Я за Россию, за родину воевал. За нее ношу кресты...» Потом полоснул сверху донизу рубаху и начал считать раны. Живого места нет — весь в рубцах да шрамах. «Вот, — кричит, — мои отличия!» Еле успокоили его.

— В каком же он отряде?

— В отряд не записывается, он с мирным населением в лагере.

Перфирий Белов был как бы самостоятельной единицей в лесу... Его знали во многих отрядах, во всех он чувствовал себя уверенно, полноправным бойцом. Партизаны относились к старику с почтением. Он знал все, что творится в округе Рамасухского полесья.

Хорошо известен был Парфен и во всех окрестных деревнях, занятых фашистами. Как бывший председатель сельсовета он свободно заходил в дома колхозников, нередко бывал и у старост. Первые встречали его с уважением, вторые со страхом.

Разговаривал Парфен со старостами властно и круто. Приказывал, к примеру, раздобыть два-три пуда соли и прислать в определенное место. Или велит смолоть на ветряке для какого-нибудь отряда зерно и оставить у мельницы... Горе тому, кто ослушается Парфена!

Во всех деревнях был известен случай со старостой из села Урочье. В селе этом каким-то чудом уцелел племенной бык с колхозной фермы, который стоял во дворе старосты Мурзина. Весной Парфен послал старосте записку. Он велел привести быка в лес, чтобы зарезать для колхозников, скрывающихся от врага в лесу. Назначил место встречи на третьем километре по Гаванскому шоссе.

В условленный час Парфен пришел к шоссе, но стал ждать не там, где была назначена встреча, а прошел километра полтора к Урочью. Староста появился без опоздания. Он шел по середине дороги и на веревке тянул упиравшегося быка. Но вслед ему по обеим сторонам дороги, маскируясь в зарослях, двигались фашист-

ские автоматчики. Парфен лежал за кустом и считал солдат. Их было около сотни. Старик пропустил карателей, осторожно отошел в глубь леса и благополучно скрылся.

Примерно через неделю после этого случая в Урочье произошло событие, о котором долго помнили во всех деревнях. Ранним утром жители села увидели, что ворота Мурзина распахнуты настежь, а хозяин дома висит на перекладине, круто склонив через петлю голову и высунув синий язык.

На груди его белел лоскуток бумаги. Когда немецкий офицер подъехал на машине к месту происшествия, переводчик, сняв с трупа бумажку, прочитал: «Приговорен к смерти за измену. П. Белов».

Никому не рассказывал Парфен, каким путем он привел в исполнение свой приговор: один ли это сделал или при помощи местных колхозников. Мурзин был вздернут бесшумно, даже его домашние не слышали. И быка Парфен не оставил у старосты, привел в лес.

Второй раз мне довелось встретить Парфена уже в отряде, и опять при необычных обстоятельствах. Дело было под вечер, в лесу, под сенью которого никогда не иссякает влага, становилось свежо. В сторонке от шалашей под раскидистым деревом весело потрескивал костер, около него собрались партизаны.

Я подошел к костру, когда редактор отрядной газеты «Гроб фашисту!» Воронин Гриша что-то с воодушевлением читал товарищам. Оказалось, что они обсуждают листовку, только что сочиненную Гришей. Листовка предназначалась для населения оккупированных сел. В ней, между прочим, были стихи:

Затирайте, бабы, квас,
Ожидайте, бабы, нас.
С Красной Армией придем,
Всех фашистов перебьем.

— А это для чего частушка? — спросил один из партизан.

— Как для чего? Чтобы панику вызвать у гитлеровцев, — пояснил поэт.

— А вдруг они твою песенку обернут в шутку? Тогда и паники не будет, — выразил сомнение партизан, спрятав в густых усах ехидную улыбку.

— Ну как это ты не можешь понять простых вещей? — искренне удивился Гриша. — Ведь тут прямо и ясно сказано: «с Красной Армией придем...» Вот и пусть трепещут, гады, ждут, когда придем...

Славный был юноша этот Гриша! Восторженный, простодушный.

До войны он заведовал клубом на каком-то заводе в Рославле и теперь в отряде все старался сколотить партизанский ансамбль песни и пляски. Хотелось ему наладить культурное обслуживание бойцов. Гриша даже подготовил для ансамбля стихи, частушки, которые, увы, распевал пока один.

На костре закипел чайник. Партизан, выразивший сомнение насчет стихов, достал из кармана пучок сухого кипрея и собрался было бросить в котелок. Как раз в этот момент неожиданно выросла фигура Парфена. Он обвел всех сидящих негодующим взором и, ничего не сказав, с размаху ударил ногой по костру. Чайник опрокинулся, вода на углях зашипела, от костра повалил пар, смешанный с едким дымом. Не успели мы сообразить, в чем дело, как Парфен загремел:

— Кто разжег огонь, ты, Гришка? — вопрошал он, нервически дрыгая ногой, чтобы стряхнуть с лаптя искры.

— Нет, Парфен Митрич, не я. Я только подошел, — скриводушничал оробевший поэт.

— Неужто не видите, что на корневище разложили? Ведь погибнет дуб. Эх, вы, варвары! Как фашисты, куда только командир ваш смотрит? И что за народ, ей-богу! — удивился Парфен. — Ничего им не жалко. Хоть весь лес сгори.

Широко расставив ноги, опершись на карабин, он свирепо бранился, внушая партизанам:

— Чтобы вырастить дерево, нужно десятки лет, а то и сотню. А загубить его можно в одну минуту. Понимаете вы это, безмозглые?

На шум явился командир отряда Колесов.

— Вот, полюбуйте, что творят! — встретил его Парфен, показывая на костер.

Командир осуждающе покачал головой. Чтобы поскорее уладить дело, оталечь расхोлившегося старика, Колесов сразу заговорил с ним о другом.

— Вы, Парфен Дмитриевич, очевидно, на партсобрание? (Парфен состоял в этом отряде на партийном учете.) Оно сегодня не состоится.

— Как так?

— Часть коммунистов пошла на задание. И секретарь парторганизации с ними. Операция срочная.

Увлекая старика от костра, командир отряда продолжал:

— Я хотел вас просить вот о чем: не можете ли вы дать нам две-три повозки? У нас, как вы знаете, лошадей достаточно, а повозок мало. А скоро в поход.

Проводив взглядом Парфена, стихотворец Гриша лукаво улыбнулся и, подмигнув мне, сказал:

— Видали, как расходился комендант?

— Какой комендант?

— А Парфен Митрич. У нас его все зовут комендантом Брянских лесов. Так и сторожит, боится, чтобы кто дерево не украл. Серьезный старик!

Обе эти встречи не вызвали у меня симпатий к Парфену. Казалось, он только и знал, что ссорился, легко находил повод для этого. И в то же время в поведении Парфена было столько сознания своей правоты, достоинства, что он возбуждал интерес к себе.

Вскоре с Парфеном мы встретились снова. По соображениям командования отряды, расположенные в Рамасухском лесу, должны были перейти за Десну и соединиться с основными силами партизанского края. Колесов послал утром за Парфеном, чтобы предупредить его.

— Так...— в неопределенной задумчивости молвил Парфен, когда командир сообщил ему о предстоящем передвижении,— оставляете, значит, Рамасуху? Немцы скажут, что вы испугались их, удираете. И еще больше бесчинствовать будут.

— Так складывается обстановка. Да мы, вероятно, скоро вернемся.

— Понятно. Дело военное, говорить не приходится,— рассудительно заметил старый солдат.— Тогда я с вами отправлю колхозников около двадцати семей. Здесь им опасно теперь оставаться. Да и дети...

— Неужели так много колхозников?

— Вот как! — удивился Парфен.— Ты и не знаешь об этом? Они у нас на базе живут, от смерти спасаются в лесу. Когда фашисты сожгли Красную слободу, Котовку, тогда колхозники и убежали в лес. Я их, понятное дело, взял к себе. Да ты не бойся, у нас есть лошади. Дети, старики поедут на подводах. Продукты тоже мы запасли. Пускай едут за Десну, там им спокойнее, безопаснее будет.

Командир задумался. Его, видимо, смущало такое количество «мирного населения». Отрядам предстояло идти километров сорок открытым полем, мимо сел, в которых размещены гитлеровцы. Может быть, придется вести бои.

— Не свяжут они нас в дороге? До рассвета мы не успеем, пожалуй, проскочить к Десне.

Командир взглянул на Парфена и, к удивлению своему, увидел,

как брови старика изогнулись, поползли вверх, глаза округлились, в них блеснула не то злость, не то удивление.

— Как? — воскликнул он, в упор глядя на командира. — Разве вы тут живете, чтобы только себя охранять? Стоило для этого вооружать вас, автоматы и патроны сбрасывать вам с самолетов? Значит, бросите людей на растерзание, а сами пробежите невредимыми за Десну? — Старик выпрямился, стукнул об пол прикладом карабина и солидно заявил: — Уж если вы боитесь, то я сам поведу их.

— Я, Перфирий Дмитриевич, не то хотел сказать, — начал Колесов, поняв свою оплошность. — Имел в виду посоветоваться с вами... Людей мы, конечно, не оставим. Пусть готовятся, сегодня в ночь...

— Хорошо, сейчас пойду собирать, — несколько успокоившись, сказал Парфен.

— А сами вы, надеюсь...

— Нет уж, благодарствуйте, — не дал договорить ему Парфен. — Останусь здесь. Чего мне, старику, уходить?

Парфен ушел хмурым, что огорчило командира: он любил старика.

...Строясь в колонну, отряды подтянулись к опушке леса, готовые выступить в поход. С запада тяжело поднималась темно-синяя туча. Она медленно, как бы с трудом отрывалась от леса, обнажая свой нижний разорванный край, сверкавший багровой окраской. Последние лучи закатившегося солнца уперлись в тучу. В лесу стало быстро темнеть.

Колесов подошел к Парфену.

— Вы не сердитесь на меня, Перфирий Дмитриевич, я не хотел вас огорчить.

— Ну, что там говорить, — тихо ответил Парфен, прощаясь с Колесовым. — Удачного вам пути.

Лес сразу опустел. В нем остались две небольшие группы партизанских подрывников. В одной из них состоял и я. Проводив отряды, мы возвращались обратно тем же путем. Но знакомые места вдруг сделались неприветливыми, пугали своей молчаливой угрюмостью. Тяжелое чувство одиночества овладело нами. Шли мы тихо, с опаской, будто впервые ступали в эти места.

— Что, ребятки, носы повесили? Пойдемте-ка ночевать ко мне, — сказал с необычной для него теплотой в голосе Парфен, угадавший наше настроение. — В лесу нам нечего грустить. Это наш друг, наш вечный защитник.

Мы сразу оживились, обрадовались, вспомнив, что Парфен,

комендант Брянских лесов, с нами. В этот момент его необычный титул, в шутку кем-то данный, приобрел для нас новый смысл: с Парфеном не пропадем.

— А найдется, Парфен, место для десяти человек?

— О месте неча печалиться. Лес большой, каждый кустик ночевать пустить,— ответил старик поговоркой.

Он привел нас в свою землянку, врытую в берег крутого оврага, заросшего кустарником. Это было старое, неизвестно когда и кем сооруженное жилье. Поселившись, Парфен застелил пол землянки досками, вывел наружу тесовую трубу. В помещении было темно и удручливо пахло прелью.

С Парфеном остались в землянке его сын, пятнадцатилетний Петя, встретивший нас с винтовкой в руке, и старичок-односельчанин.

— Скучно стало без народа, как после покойника,— заметил старик, зажигая «летучую мышь».

— Не каркай попусту,— остановил его Парфен.— Собери лучше что-нибудь поесть людям.

— Это мы в один миг спроворим,— весело засуетился старик, привыкший беспрекословно повиноваться Парфену.

Он достал откуда-то сала, свежего меду в сотах и пресных ржаных лепешек.

— Медок липовый, душистый,— похвалил старик.— Это приношение колхозников. А за хлебушек извиняйте. Весь отдали сегодня переселенцам в дорогу.

Мы наскоро перекусили, выставили часового и, не раздеваясь, вповалку легли на полу, устланном сеном.

Сон был тревожным, в землянке душно. Проснулись рано, с рассветом, и вышли на воздух. Но Парфен опередил нас.

— Умываться вот туда идите, к роднику,— сказал он, подходя с ведром воды.

Когда обурилось, старик, угощавший нас ужином, наварил полное ведро свежей картошки и на жестяном противне нажарил сала. Расположившись на траве, поодаль от землянки, мы сели завтракать. И едва успели приступить к роскошному угощению, как с двух сторон леса, почти одновременно, грянули два артиллерийских выстрела. Люди сразу перестали жевать. Старый кашевар остановился с разинутым ртом, вопросительно глядя на Парфена. Прошло две-три минуты, раздалось еще два выстрела, потом опять. Над лесом свистели невидимые снаряды и рвались с продолжительным гулом.

Рамасухский лес сравнительно небольшой. Артиллерийским

огнем, пожалуй, можно было достать любую точку на его территории. Обстрел велся беспорядочно, снаряды рвались то в одной, то в другой стороне леса. Нашей небольшой группе они, конечно, не могли причинить вреда. Но все же действовали на нервы.

На протяжении всего дня, через каждые пятнадцать-двадцать минут, с какой-то тупой аккуратностью приближался отвратительный свист, и каждый из нас прислушивался, стараясь определить, где должен упасть снаряд.

— Пускай стреляют, коль припасы лишние,— говорил Парфен.— Жалко только, деревьев много погубят, подлые люди.

Мы весь день старались разгадать, с какой целью немцы ведут обстрел. Если это артиллерийская подготовка перед наступлением, то она очень затянулась. День был уже на исходе. Да и «цель» для обстрела слишком велика. Судя по тому, что ночью не было слышно боя, отряды прошли за Десну благополучно. Вместе с тем противник, несомненно, осведомлен об этом. Огромная колонна людей двигалась по крайней мере мимо десятка сел, затемно она не могла преодолеть всего пути. Взвешивая все это, мы тем более не могли постигнуть смысла предпринятого гитлеровцами обстрела.

Парфен в ту же ночь ушел в разведку, чтобы узнать обстановку. В землянке он нам ночевать не советовал.

— Плащ-палатки есть у всех. Ложитесь где-нибудь в молодом сосняке. Он растет густо, и сухо в нем. Да чтобы, упаси бог, часовые не спали! — строго предупредил старик.

Взяв свой карабин, Парфен зашагал, встряхивая торчащим в сторону правым ухом малахая.

Вечером стрельба прекратилась. Ночь мы проспали спокойно и утром встали, когда начало сильно пригревать солнце. Артиллерийские снаряды свистели теперь реже, чем вчера.

— Батя не пришел? — с тревогой спросил пробудившийся Петя.

— Да ты не беспокойся, голубок, придет,— ласково ответил старый кашевар, хлопотавший у костра.— Парфен у нас башковитый, любого германца вокруг пальца обведет. Вот-вот нагрянет.

Но ждать Парфена пришлось долго. Мальчик беспокоился целый день, отец вернулся только к вечеру. Он пришел не один. Впереди него понуро шагал средних лет мужчина с бледным лицом и густым кровоподтеком у левого глаза.

— Стой, сукин сын! — скомандовал ему Парфен и, сняв с левого плеча короткий обрез, потряс им в воздухе, потом с презрением бросил в сторону: — Вот чем воюет, бандюга! — Парфен сдвинул со лба на лицо шапку, отер ею пот.— Подхожу к лесу

от Петровского поселка, остановился отдохнуть. Слышу шаги. «Стой на месте!» — кричу. А он из своего поганого оружия — в меня. Да промахнулся. А я ему угодил в плечо. Он и руки опустил.

— Что же это за человек?

— Полицай. Почепский бургомистр прислал его узнать, много ли в лесу партизан осталось,— ответил Парфен.

— На кой же черт ты сюда тащил полицая? — крикнул кашевар. — Что нам тут с ним делать?

— Как это «что»? — удивился Парфен и выразительно взглянул на липу, стоявшую рядом. — Самая подходящая... Поднимем его туда, пускай сверху считает партизан.

После того как старик отдохнул, закусил, он передал нам новости. Отряды прошли за Десну благополучно. Но когда партизаны утром приблизились к Погару, что в пяти километрах от дороги, вызвали там большую панику. Увидев внушительную колонну, гитлеровцы бросили город и залегли на противоположной окраине в старых окопах.

— Перетрусили, стервецы, как крысы, поползли из Погара. Нашим туда бы заскочить, хоть ненадолго... Да не дыми ты табачищем своим проклятым! — внезапно крикнул он на старого кашевара, который слишком близко придвинулся к Парфену, почтительно слушая его рассказ.

Комендант был некурящим и не выносил запаха табака. Но в данном случае не табак, конечно, привел его в сильное раздражение. Сорвав злость на старике и для вида помахав перед лицом рукой, чтобы отогнать дым, Парфен продолжал:

— Мы вот здесь сидим, а немцы наш хлеб крадут. Везде идет уборка. Колхозников насильно сгоняют на поля. Зерно фашисты увозят на склады, в вагоны грузят. Под метлу зачищают. Эх, напрасно ушли отряды в такое время. И какой это дурак распорядился! — воскликнул старик.

Сведения о хлебоуборке, начатой оккупантами, очень расстроили Парфена. Председатель сельсовета хорошо знал, сколько труда вложили люди, чтобы получить урожай.

— Сейчас нам не гоже сидеть сложа руки. В совхозе «Глушки» все амбары забиты пшеницей. Надо хоть красного петуха подпустить, пока хлеб не уплыл в Германию.

Мы решили немедленно идти в совхоз «Глушки». Парфен снабдил нас бутылками с горючим. У меня были термитные снаряды, привезенные еще с Большой земли. Для «красного петуха» они особенно удобны. Команда наша состояла из шести человек во главе с Гудковым. Народ подобрался молодой, сильный.

Остальным четверем подрывникам Парфен тоже посоветовал сходить на операцию, только в другую сторону.

— Если подорвать ничего не удастся,— наказывал он,— хоть шуму наделайте, постреляйте в фашистов. Важно, чтобы они думали, что партизан в лесу много. Не зря бургомистр этого негодяя с обре-зом прислал. Догадываются, что здесь никого не осталось.

Протившись с товарищами, мы еще засветло двинулись в «Глушки». Пробирались балками, ржаными полями. Пасмурная погода радовала нас. Темная ночь для партизана всегда лучше звездной, а тем более — лунной. Соблюдая тишину, мы легко приблизились к совхозу почти вплотную. Часовые у амбаров одну за другой выпускали ракеты, освещая все вокруг.

При свете ракет мы легко разглядели расположение хранилищ, заметили, как расставлена охрана. У самого большого амбара было расположено пулеметное гнездо. Три бревенчатых амбара стояли в ряд. Это облегчало нашу задачу. Мы насчитали десять солдат, одиннадцатый находился поодаль, около открытого бунта зерна. Солдат сидел прямо на зерне и тихо наигрывал на губной гармошке.

По всему видно — фашисты чувствуют себя спокойно. Лес, мол, далеко, бояться нечего...

Мы более получаса лежали, обдумывая, как нам справиться со своей задачей.

— Давайте сделаем так,— шепотом предложил Семка: — Я подползу к гармонисту и кокну его. А потом начну стрелять по амбару.

Гудков одобрил его предложение.

В военном деле постоянно сталкиваешься с неожиданностями. Даже в такой маленькой операции, как наша, невозможно предугадать всего.

После выстрела Семки часовые не погнались за ним, как мы рассчитывали, а залегли около пулемета и открыли в сторону бунта густой огонь трассирующими пулями. Мне показалось, что дело срывается. Наш командир вдруг коротко крикнул: «Огонь!» — и выстрелил из винтовки. Я послал в сторону пулемета очередь из автомата, единственного в нашей группе. У амбара произошла заминка. Фашисты больше не освещали себя ракетами. По той же, видимо, причине умолк и пулемет, заряженный трассирующими патронами. Опытный Гудков мгновенно оценил обстановку.

— Вперед! — крикнул он и бросился к амбарам. Мы побежали за ним. В темноте по внезапному крику немцы могли принять нашу пятерку по меньшей мере за взвод и, конечно, не выдержали. Зазвенели бутылки, вспыхнуло пламя. Я подсунул под угол амбара

зажженный термитный снаряд. Его огромная температура гарантировала успех. Здания были из сухих сосновых бревен.

Через минуту мы уже убегали, чтобы поскорее вырваться из полосы света разгорающегося пламени. Вскоре в поселке, неподалеку от амбаров, загудели моторы, автомашины подошли к месту пожара и тут же повернули в сторону поля. Фары машин, вероятно броневиков, ощупывали землю. Свистели пули, слышались разрывы мин.

Но мы уже были на таком расстоянии, что ни фары, ни ракеты не могли нас достать.

Последний километр, отделявший нас от леса, мы шли уже при свете утра. Углубившись несколько в лес, сразу почувствовали себя как дома. Опасность осталась позади, задание выполнено, теперь в самый бы раз отдохнуть. И Гудков, замечаем, уже оглядывается по сторонам, подыскивает удобное место для отдыха. Через минуту растянулись на траве. Расслабленное усталостью тело ноет в приятной истоме, дремота слипает глаза. И вдруг раздалась... музыка. Мы мгновенно вскочили, схватились за оружие, но тотчас расхотались. Это Семка, скорчив рожу, неумело дудел на губной гармошке. Гудков брезгливо скривил рот:

— Брось ее к черту! Вдруг он заразный был, паскудина...

Семкина шутка разогнала дремоту, и Гудков, воспользовавшись этим, предложил не задерживаться долго. «Отоспимся в лагере»,— сказал он.

Утро было тихое, на траве низко лежал густой слой тумана, и мы в нем шли, как в молоке, не оставляя за собой никаких следов. Через несколько минут вымокли до колен, натруженные ноги ныли от сырости.

Постепенно день разгуливался, солнце сгоняло росу. Незаметно мы обсохли, чувство усталости притупилось.

— Может быть, посидим немного! — сказал Семка, умоляюще глядя на Гудкова.— Уж больно утомились.

— Стоит ли? До места осталось километра три,— ответил Гудков, устало шагавший впереди. Он обернулся к товарищам, как бы предлагая им решить вопрос об отдыхе. Внезапно раздалось несколько выстрелов. Гудков, предостерегающе подняв руку, остановился, чтобы определить, откуда доносятся выстрелы.

— Где-то около наших,— с тревогой сказал он, на ходу снимая винтовку.— Поспешим, ребята!

Огонь усиливался. Сомнения не было: фашисты напали на лагерь. Мы бежали быстро, у молодого сосняка, где ночевали сутки назад, остановились. Оттуда стреляли наши товарищи по фашистам,

подступавшим из соснового бора. Противников разделяло расстояние не более двухсот метров.

Мы решили подползти незаметно во фланг фашистам. И когда открыли по ним внезапный огонь, они быстро начали отходить. Но, удирая, кто-то из них зажег сухой хворост под старой елью, и та вспыхнула факелом.

Преследование фашистов заняло около часа. Непривычные к лесу, они боялись каждого куста, бежали кучками, ища кратчайшего выхода на окраину.

Возвращаясь к своим, мы подошли к дымившейся старой ели.

— Дядя Миша! — крикнул Петя, и я не узнал его голоса. — Батюку убили...

Парфен лежал навзничь, с разбросанными в стороны руками. Худое тело еле виднелось из травы, и только длинный квадрат бороды, вздернутый вверх, странно чернел в серых метелках пырея. Обняв отца, Петя вздрагивал в рыданиях, и от этого борода Парфена встряхивалась, словно от ветра...

— Петя... Поднимись, Петя, — начал я и тотчас умолк, не зная, что сказать в утешение осиротевшему мальчику.

Позднее выяснились подробности. Когда Парфен увидел, что фашисты, отступая, подожгли хворост, он, не раздумывая, кинулся туда. За ним побежал и Петя, тоже вооруженный винтовкой. Парфен принялся тушить огонь. Притаившийся в кустах полицейский выстрелил и попал старику прямо в грудь. Петя не растерялся, пальнул в полицейского, ранил его в живот, а потом подбежал и добил прикладом.

...На взгорье мы выбрали место близ дуба и похоронили коменданта Брянских лесов.

Старый кашевар обложил могильный холм дерном. Он работал неторопливо, тщательно. И все время около могилы неподвижно сидел Петя. Лицо мальчика осунулось, сухие глаза смотрели неподвижно.

— Петенька, поплачь. Поплачь, сынок, легче будет, — ласково просил старик, но мальчик не слышал его слов.

На этом можно было закончить рассказ о коменданте Брянских лесов. Но мне хочется упомянуть еще об одном случае, происшедшем через две недели после его смерти. В тот день партизанский отряд «Засада» снова вернулся в Рамасухский лес.

Уставший от похода командир не мог отдыхать, узнав о несчастье. Бледный и взволнованный, он ходил по лагерю и не находил себе места. В это время ему доложили, что в лагерь пришел

староста из села Бугры. Тучный, широкоплечий мужчина среднего роста с крупными чертами лица подошел к Колесову в сопровождении вооруженного партизана. Он снял фуражку, обнажив белую, словно обсыпанную мукой, голову.

— Что вам нужно? — спросил командир.

Седой человек взглянул на командира, вздохнул.

— Я из Бугров, староста, — сказал он и замолчал, еще раз шумно глотнув воздух. — Служил там по приказу... Перфирия Дмитриевича. Но об этом знал только он.

Бугровский староста поставил перед командиром трудную задачу. Что делать с ним, как поверить ему?

В лагере готовились к митингу на могиле Перфирия Дмитриевича. Секретарь парторганизации Стариков набрасывал тезисы своей речи. Ему понадобились некоторые данные из биографии Перфирия Белова. В кожаной сумке, где хранились партийные документы всех коммунистов отряда, он отыскал партбилет старого коммуниста, развернул его и увидел маленькую бумажку. Это была записка.

«На случай моей смерти!

Бугровский староста Силантий Бурнягин, родом из того же села, не предатель, а наш лучший коммунист и партизанский разведчик. Достоин награды. Что я и удостоверяю.

П. Д. Белов.

Май 18 дня 1942 г.»

Записка была заверена подписью и печатью сельсовета.

При гробовой тишине Колесов прочитал записку, переданную ему секретарем парторганизации.

— Товарищ Бурнягин сейчас здесь. Мы с радостью принимаем его в свой отряд. Пусть он носит оружие покойного Перфирия Дмитриевича.

Командир попросил Бурнягина подойти поближе и вручил ему карабин. Тот взял его в руки и, сняв фуражку, поцеловал. Потом поклонился партизанам и сказал:

— Спасибо...

Разные бывают встречи в жизни. Иную забудешь тотчас, а другая проживет какое-то время и погаснет, словно ее и не было. Но зато выдаться иногда такая, что врежется в память на всю жизнь, будто шрам от сабельного удара.

...Дело было давно, четверть века назад.

Первая встреча с Селиверстовым случилась у меня в необычной обстановке, на территории, оккупированной фашистами.

Со своим другом Ефремом мы всю ночь были в разведке, а поутру я собрался уходить в отряд. Ефрем остался. Прошел слух, что ожидается новая часть фашистов, надо было узнать о ней поподробнее.

Оврагами, кустарником я пробирался в сторону реки Неруса, за которой лежали Брянские леса. День был хмурый, тяжело и низко ползли тучи в сторону леса и лениво кропили землю мелким дождем. Всколмленные поля с редкими кулигами осинника выглядели пустынно. На протяжении двухчасового пути я даже издали не увидел человека.

Чтобы попасть на левый берег Нерусы, мне предстояло пройти через мост у деревни Глинищи. Обыч-



но днем мы избегали открыто бывать в селах, но на этот раз я решил заглянуть в село. Да, правду сказать, и голод понуждал меня зайти в крайнюю избу — может, удастся чем-нибудь разжиться. Я знал, что в Глинищах жил староста, при нем — небольшая группа полицейских. Они держались тихо, боялись партизан. Так что я шел спокойно, но, конечно, с предосторожностями.

Незаметно, прибрежным ольховником подошел к крайней избе, держа наготове автомат. Из трубы шел густой дым и по сырой тесовой кровле сползал вниз, на землю.

Без стука и разрешения я вошел в избу и поздоровался с женщиной, встретившейся у порога. Не ответив на приветствие, она поплылась к кровати, на которой лежал мужчина. Казалось, женщина хотела заслонить его, защитить...

— Почему хозяин долго спит? — спросил я, чтобы прервать молчание.

— Инвалид он, больной, — холодно ответила женщина. — А ты кто такой будешь?

— Партизан, — ответил я напрямик, пристально наблюдая за мужчиной.

— От наказание! — воскликнула женщина. — Как партизан, так к нашему дому претя! Не миновать нам петли через вашего брата.

— А ты молчи, — вдруг простуженным басом оборвал ее мужчина. — Не твоего это ума дело.

— Что молчать-то? Говорю тебе, повесят нас из-за них, за связь с партизанами.

Опасения женщины были обоснованы, я чувствовал правоту ее слов.

— Есть, поди, хочешь? — спросила она все тем же сердитым тоном.

— Не прошу, — сдержанно ответил я.

— То-то вот, не просишь, — недовольно отозвалась она. — Тогда ради чего заявился? Шел бы вон к соседям.

— А ты, браток, не слушай дуру бабу, — добродушно посоветовал мне хозяин. — И на меня не смотри подозрительно. Я инвалид, безногий. — Он откинул одеяло и показал тупой обрубок ноги.

— Я давно говорю ему, — опять начала женщина, — надо переехать нам в другой дом. Половина изб пуста, любую занимай. Узнают немцы, что к нам то и дело ходят партизаны, пристрелят.

— Не слушай ее глупых речей, — повторил свой совет хозяин. Свесив с кровати ногу, негромко, но властно приказал: — Покорми человека.

Я стал отказываться. Но вдруг заметил, что по лицу хозяина

скользнула страдальческая гримаса. Он осуждающе посмотрел на жену.

— Не сердись на нее,— попросил хозяин.— Смерти боится баба. Сам знаешь, как лютует немец.

Хозяйка молча поставила на стол горшок молока, нарезала ржаного хлеба и, неожиданно смягчившись, тоже стала просить:

— Не гребуй нашим хлебом-солью. Прости на глупом слове.

Я сел за стол и вдруг увидел в окно мужчину, идущего через улицу к соседнему дому. Одной рукой он вел за повод лошадь, в другой нес полное ведро воды. У него была широкая светлая борода с рыжеватым оттенком. Твердая, упругая походка, однако, была совсем не стариковская.

— Что за человек?

— Сосед,— равнодушно ответил хозяин, глянув в окно.

— Не полицейский?

— Нет, сапожным делом занимается.

— Как фамилия?

— Михайлой зовут, а фамилии не знаем. Нездешний он. Из окружения зимой вышел, да и прижился. Кто-то сказывал, будто командиром был в Красной Армии.

— Женился, наверное? — спросил я.

— Какая женитьба? Пристроился к солдатке и пасется у нее на добрых харчах.

Человек заинтересовал меня. Я решил выяснить, кто он такой. К сапожнику и повод был зайти: сапог поправить.

Михайло встретил меня сдержанно, настороженно.

— Небольшое дело есть,— обратился я.

— Слушаю вас,— коротко, по-военному ответил он, косясь на мой автомат.

— Каблук оторвался у сапога. Не поможете?

— Это можно, отчего не поправить. Дело мастера боится.

Он, видимо, овладел собой, и теперь в его речи звучала наигранная певучесть.

В избе было тепло и уютно, от большой русской печи шел вкусный запах мясных щей. Кровать с горой взбитых подушек аккуратно убрана. Все это дело рук женщины. Но ее самой не было видно в доме. Только на печке лежал глубокий старик. Он часто позевывал, крестил рот и равнодушно смотрел на меня выцветшими глазами.

Низкий стол, заваленный обрывками кож, гвоздями, колодками, стоял около окна. Я снял сапог. Михайло принялся за дело. Он не спрашивал меня, кто я такой, откуда появился. Мы разговаривали

о погоде, о разных пустяках. Но беседа шла натянуто. Казалось, Михайло и сам догадывался, что говорить нам надо не о погоде.

— Вы окруженец? — спросил я неожиданно.

У сапожника даже молоток выпал из рук. Он с тоской взглянул мне в глаза и глухо ответил:

— Да, окруженец.

Мы долго молчали. Было слышно, как жужжали в кухне мухи.

— А почему вас это заинтересовало? — спросил наконец сапожник.

— А сами вы не догадываетесь?

Михайло не ответил. С преувеличенной силой колотил молотком по каблуку, видимо, соображая, что сказать гостю.

В это время я увидел, что из чулана за мной наблюдают два тревожных глаза.

— Что вы мне предлагаете? — без обиняков спросил сапожник.

— Во-первых, — ответил я, — следовало бы вам вступить в партизанский отряд. Во-вторых, побриться. Партизаны подозрительно смотрят на молодых бородачей.

Из чулана вышла молодуха и, на ходу набрасывая на плечи одежду, направилась к двери.

— Скажите ей, чтобы она подождала, пока я не уйду, — тихо потребовал я.

— Феня, вернись! — крикнул Михайло.

— Что, разве я под арестом? — вызывающе спросила женщина, держась за скобу двери.

— Вернись, тебе говорят! — крикнул с раздражением Михайло.

Она молча вернулась.

— А кем вы меня поставите? — спросил Михайло, стараясь придать вопросу шутливую интонацию.

— Рядовым.

— Это командира-то? — опять шутливо.

Я не ответил, а он задумался. Спустя некоторое время, подавая готовый сапог, спросил:

— А если я не пойду к вам?

Я неторопливо навернул портянку, надел сапог, поблагодарил мастера, а уж потом ответил:

— Не пойдете — расстреляем.

— Но ведь я ранен! — он показал на шрам, рассекающий бровь. — И под лопаткой сидит осколок.

— Ранение зажило, пора в строй, — сказал я. — Иначе это похоже на дезертирство.

— Сурово вы разговариваете,— не с упреком, как-то задумчиво проговорил сапожник.

Михайло поднялся с табуретки и, открыто взглянув мне в лицо, сказал:

— Я все понял. Но дайте подумать. Можно?

Собравшись уходить, я вспомнил про лошадь.

— Знаете что,— обратился я к сапожнику.— Мне надо срочно в отряд. Одолжите вашу лошадь.

Женщина, неотступно следившая за нашим разговором, услышав про лошадь, мгновенно вылетела из чулана, словно ее кто вышиб оттуда.

— Зачем тебе наша лошадь? Мы за нее деньги платили!

Сапожник молча метнул в нее взглядом, и она тотчас скрылась за дверью. Видно, Михайло обладал сильным характером.

— Я вам дам лошадь, но с условием...

— Вы находите удобным ставить мне условия?

— Тогда — просьба,— поправился он.— Доедете к себе, отпустите ее. Она придет сама. Хозяин лошади вон на печке.

Я обещал отпустить его коня.

Мне казалось, что Михайло непременно придет к партизанам. Увы, это предположение не оправдалось. Мы встретились с ним снова, но уже не в Глинищах, а в селе Болотное, что в западной части Брянской области.

Была глубокая осень. Наши войска гнали фашистов на запад. Партизаны выходили из лесов, шумно и радостно встречали воинов. Нередко целые отряды спешно переодевались в форму и вливались в регулярные войска Советской Армии.

В селе Болотном, расположенном в стороне от больших дорог, скопилась большая группа полицейских, потерявших своих хозяев...

Наш отряд наткнулся на них случайно и потребовал сложить оружие. Но полицейские дрались отчаянно, с яростью обреченных. Партизаны ворвались в село и провели свой последний бой на родной земле сурово и жаростно.

Усталые, мы шли с Ефремом по улице. Вдруг через плетень увидели в саду человека. Озираясь, полусогнувшись, он пробирался между голых кустов вишенника. На окрик не остановился, и я выстрелил по саду короткой очередью. Но сознательно взял выше, чтобы не задеть человека.

После этого незнакомец поднял руки. Еще не остывший после боя, Ефрем крепко выругался, перемахнул через плетень и сгоряча размахнулся. Но я успел схватить его за руку.

— Подожди, Ефрем.

В это время человек поднял глаза.

— Михайло?!

— Эге, да это и мой старый знакомый! — воскликнул Ефрем, пристально глядя на растерянного человека...

По трусости, по другой ли причине сапожник Селиверстов не побрился и не пришел к партизанам. Разговаривать с ним у меня не было ни времени, ни желания. Но мог ли я тогда подумать, что судьба в третий раз сведет меня с этим человеком через десятилетия. Да еще в каком месте!

Летом 1966 года я был в командировке в Киргизии. Сажу в колхозе «Чон-су», под Иссык-кулем, и беседую с председателем. Вдруг в кабинет вошел белобрысый мужчина. Левый пустой рукав гимнастерки, заправленный под ремень, плотно прилегал к боку.

Пришелец был русским, но с председателем свободно говорил по-киргизски. Белесое лицо его что-то смутно напомнило мне. Почувствовав на себе пристальный взгляд, он нервно передернул бровью. Правый глаз его прищурился. Мне показалось, что, взглянув на меня, он чуть вздрогнул и тотчас отвернулся.

Где я видел этот прищуренный глаз с прозрачным белым шрамом поперек брови? Разговаривая с председателем, он уже явно старался не смотреть на меня. И только уходя, еще раз кольнул резким прищуром глаза.

Оставшись вдвоем, я спросил Атабекова, кто это такой.

— Наш зоотехник.

— Давно живет в колхозе?

— С войны остался. Хороший работник, между прочим.

Подробно расспрашивать председателя было неудобно. Но меня преследовала мысль: где я видел этого человека?

Ночевал я в том же колхозе, в доме приезжих. И вот вечером в комнату вошел тот самый белобрысый человек.

— Извините, вы меня узнали, конечно?

— Да,— ответил я не очень уверенно.

Минуту мы стояли молча. Я ждал, чтобы гость заговорил первым.

— Моя фамилия Селиверстов. Помните наш разговор в Глинцах? — спросил он.

Вот, оказывается, где я встречался с ним! Вся картина мгновенно ожила передо мной.

— Если бы я не встретился с вами вторично, в 1943 году,— заговорил Михайло,— то, наверное, все сложилось бы иначе.

— То есть?

Он задумался, а потом продолжал:

— Помните, с вами был Ефрем, щербатый такой парень? Так вот с этим самым Ефремом мы земляки, оба из города Белева.

— Минутку,— остановил я Селиверстова.— У вас, помнится, была возможность перейти к партизанам. А вы...

Мой собеседник поднял высоко согнутую руку и, прижав ее к щеке, пояснил:

— Вот он, локоть, близок, а не укусишь. Откровенно говоря, я тогда был очень растерян. Казалось, все погибло, а фашисты прут и прут.

Селиверстов замолчал.

— Значит, потеряли уверенность в нашу победу? — спросил я. Он виновато посмотрел на меня.

— Стало быть, могли быть на службе у врага...

— Пощадите меня,— взмолился Селиверстов.— От этого я все же был далек.

Он тяжело задумался, глядя в одну точку.

— Сначала я колебался насчет партизан, все оттягивал, раздумывал. А время шло. И с каждым днем удалялся от них, хотя и жил рядом с ними. Потом стал бояться встречи. Все равно, думаю, расстреляют они меня за уклонение от войны. Тогда решил уйти в степные районы, подальше от лесов. Сознавал, что гибну, а другого выхода не видел. Только о том и думал, как спасти свою жизнь...

Селиверстов стал углубляться в философские размышления, а мне не хотелось затягивать разговор.

— Что же дальше-то было? — спросил я.

— Вы, вероятно, помните, из Болотного нас всех отправили в воинскую часть. Попал я в маршевый пехотный полк. Никогда не забуду этого счастливого дня!

Селиверстов глубоко, облегченно вздохнул, и на лице его я впервые увидел сдержанную улыбку. Она как-то неприятно перекосила тонкие, бледные губы, образовала глубокие складки в углах рта.

— Командир роты задал мне несколько вопросов,— продолжал Селиверстов.— Я хотел ему начистоту рассказать все о себе, но он махнул рукой и крикнул: «В строй!» Через полчаса обрядили меня в воинское, вооружили винтовкой, и я с удовольствием шагал на левом фланге.

Селиверстов оживился, стал подробно рассказывать, как служил в полку, был два раза ранен.

— После каждого боя, и особенно после ранения,— воодушевленно продолжал он,— у меня на душе становилось все легче и легче, словно тяжесть постепенно снималась с плеч.

Он опять криво улыбнулся и, сдерживая возбуждение, продолжал:

— В сорок четвертом мы уже были в Германии, и в самом центре Пруссии! Откровенно скажу, втайне я даже жалел, что война идет к концу...

Он с опасением взглянул на меня, сознавая, что говорит неладное.

— Я, конечно, понимал, что это эгоизм. Но, думал, совершу геройство, окончательно оправдаюсь перед своими.

На лице его снова легла печать тяжелого раздумья. Он умолк, как бы не решаясь продолжать рассказ.

— И все-таки,— воскликнул он,— очистить совесть мне так и не удалось!

Эта фраза показалась несколько риторичной. Селиверстов заметил мою сдержанную улыбку.

— Нет, я не рисуюсь.

Рассеченная бровь его судорожно передернулась от нервного напряжения.

— После второго ранения я получил отпуск и поехал домой, на побывку. И мать, и жена встретили меня с большой радостью. Вечером, когда мы остались вдвоем, жена вдруг спросила, где меня встречал Ефрем? Верите ли, у меня даже потемнело в глазах.

Оказывается, еще год назад Ефрем прислал домой письмо и сообщил, что встретил Селиверстова в селе Болотном.

— Лучше бы он застрелил меня тогда!

В долгую ночь Селиверстов все честно рассказал жене и на другой день уехал на фронт. И самым тяжелым для него было в то утро настроение жены. Она не высказала мужу ни одного слова упрека, но и не удерживала его... Только мать, ничего не зная, молча плакала.

— Утром я ушел на вокзал один. И матери, и жене провожать запретил. Многие годы прошли, и нет покоя моей душе. И даже вот здесь, в горах Тянь-Шаня, я живу и постоянно боюсь, что кто-нибудь покажет на меня пальцем: это тот самый, что скрывался от войны...

Селиверстов умолк, взял фуражку. Настроение его подавляло меня. Я припомнил Ефрема, погибшего на фронте. Это был горячий, бесхитростный и в сущности очень добрый парень. И уж, конечно, он не предполагал тогда, что будет причиной многолетних душевных страданий своего сверстника.

— Ну, вот и все,— сказал Селиверстов.

— Как все? — встревожился я.— Говорите уж до конца.

— Больше говорить нечего. Под Прагой я был ранен. Потом очутился здесь, в городе Пржевальске, в госпитале. Рана скоро зажила, а там и война кончилась. Бывало, хожу по тополевым улицам тихого Пржевальска и все думаю над своей судьбой. Вот выпишут, куда я пойду? Домой ехать не мог.

— Где же ваша семья?

— Мать умерла, а жена и теперь в Белеве, вероятно.

Он опять присел на стул и задумчиво проговорил:

— Дело тут, конечно, не в Ефреме. Я слышал, что есть у нас такой закон: если провинившийся вернулся в строй и в честном бою получил ранение — его прощают. Считается, что вину свою перед Родиной он смыл кровью. Сам я не читал этого закона, но если он действительно существует, то лишь для юридического оправдания. А совесть! От нее куда спрячешься?

СОДЕРЖАНИЕ

Прыжок в темноту	3
Половодье	16
Солдатская ложка	41
Отзовись, если жив	47
Гибель коменданта	56
Суд совести	71

Николай Николаевич Прохоров

ПРЫЖОК В ТЕМНОТУ

Редактор **М. М. Колосов**
Художник **Е. Р. Скакальский**
Художественный редактор **Э. А. Розен**
Технический редактор **И. И. Капитонова**
Корректор **Е. Ф. Раевская**

Сд. в набор 9/II-71 г. Подп. к печ. 21/VI-71 г.
Ф. бум. 84×108¹/₃₂. Физ. п. л. 2,5. Усл. п. л. 4,2.
Уч-изд. л. 4,83 Изд. инд. ЛХ-516. А06630. Тираж
50.000 экз. Цена 17 коп. в обл. с лакир. Бум. № 1.
Издательство «Советская Россия».
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Коми-
тета по печати при Совете Министров РСФСР,
г. Электросталь Московской области, Школьная, 25.

17 коп.

● С О В Е Т С К А Я Р О С С И Я ●

